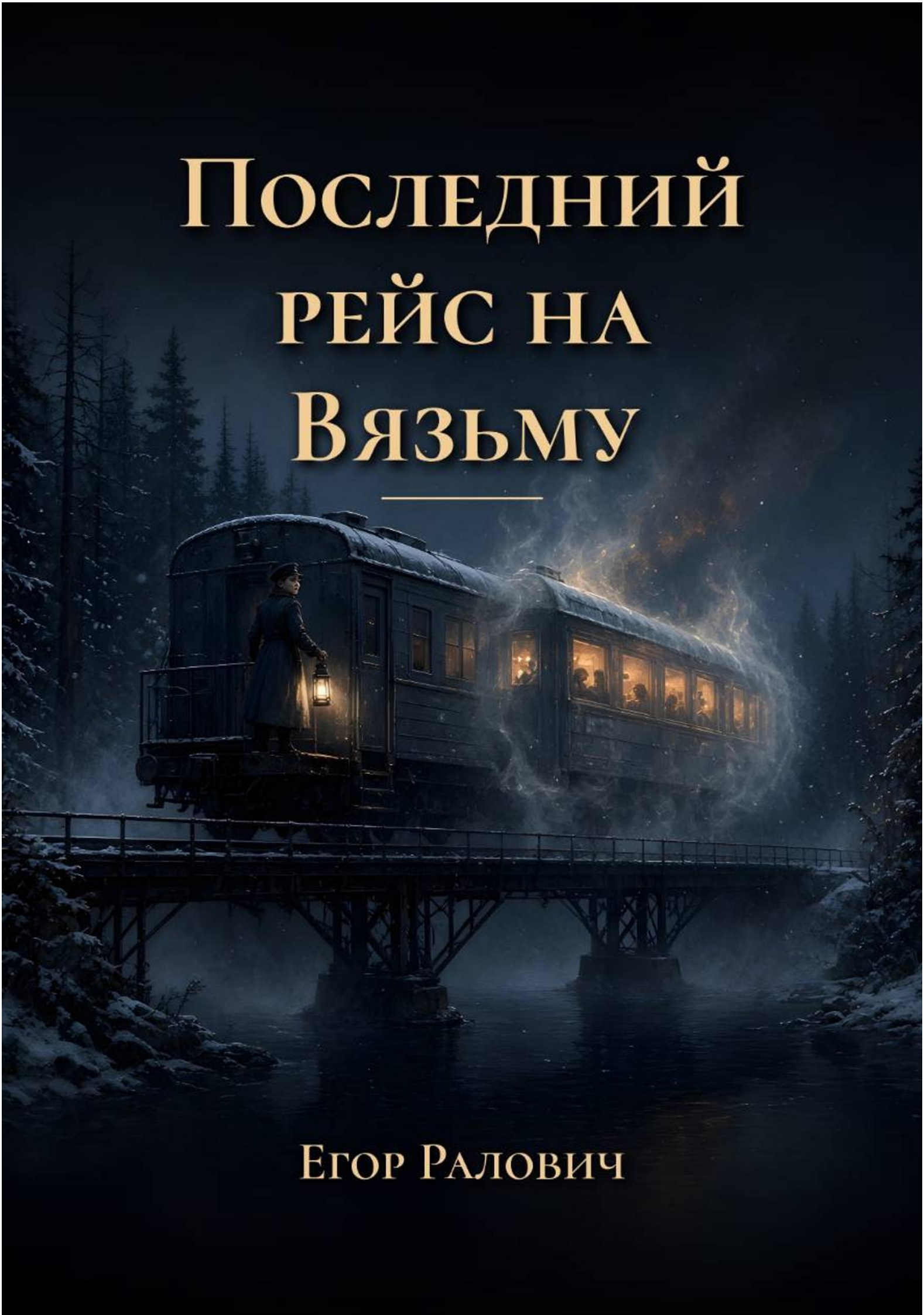
Последний рейс на Вязьму



Егор Ралович

Егор Ралович

Последний рейс на Вязьму

«Автор»
2026

Ралович Е.

Последний рейс на Вязьму / Е. Ралович — «Автор», 2026

Поезд «Москва – Вязьма» ходит раз в неделю. Пятнадцать лет назад его девятый вагон сгорел на мосту, погибли двадцать три человека, а виноватой назначили проводницу Нину Лескову. С тех пор по ночам между Сухой Ветлой и Вязьмой к составу снова цепляется девятый вагон.Варя Лескова, дочь той самой «пьяной проводницы», сама просится на этот маршрут.
В первую же ночь из несуществующего вагона в Вязьме сходит женщина, умершая девять лет назад. Вернувшиеся помнят всю свою жизнь, кроме смерти, и у каждого ровно семь дней. А вагон берёт по счёту: за каждого уходящего мёртвого должен войти один живой.Кто-то вписывает имена умерших в подлинную ведомость вагона и торгует горем богатых людей. Вместе с недоверчивым лейтенантом транспортной полиции Варя ищет того, кто держит в руках химический карандаш её матери, и правду о ночи, которую пятнадцать лет все предпочитали забыть.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Седьмая минута 5
Глава 2. Орешкина Клавдия Ивановна 11
Глава 3. Бесплатный билет 17
Глава 4. Тетрадь Сомова 23
Глава 5. Тамбур 29
Глава 6. Бельевые мешки 35
Глава 7. Холодные руки 41
Глава 8. Фонд «Свеча» 47
Глава 9. Сухая Ветла 53
Глава 10. Машинист 59
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Егор Ралович
Последний рейс на Вязьму

Глава 1. Седьмая минута

Вагон пах так, как пахнут все старые плацкартные вагоны в середине ноября: мокрыми куртками, угольной пылью из печного отсека, хлоркой и чьей-то курицей, завёрнутой в фольгу ещё в Москве. Варя Лескова стояла в тамбуре восьмого вагона, держала в руке фонарик и проверяла, не дрожат ли пальцы. Пальцы не дрожали. Это было хорошо, потому что дрожало всё остальное: колени, голос, когда она проверяла билеты, и что-то под рёбрами, где обычно живёт решимость.

Поезд номер шестьсот шестьдесят восемь «Москва – Вязьма» отошёл от Белорусского вокзала в двадцать три сорок, минута в минуту. Ходил он раз в неделю, в ночь со среды на четверг, и в депо про него говорили по-разному. Одни называли его «пенсионным», потому что ездили на нём старики с дачными сумками и льготными билетами. Другие называли «тихим». Третьи не называли никак и меняли тему.

Варя попросилась на этот маршрут сама. В отделе кадров на неё посмотрели так, будто она попросилась в забой.

– На шестьсот шестьдесят восьмой? – переспросила кадровичка, женщина с причёской, похожей на шлем. – Восьмой вагон?

– Восьмой, – сказала Варя. – Там же место свободное.

– Свободное, – согласилась кадровичка и долго что-то печатала, не глядя на неё. – Там всегда свободное.

Тогда Варя не придала этому значения. Ей было двадцать три года, у неё было удостоверение проводника пассажирского вагона, полгода стажа на летних южных рейсах и одна причина, о которой она не рассказывала никому. Причина была простая: пятнадцать лет назад на этом самом поезде, на этом самом маршруте, погибла её мать.

Сейчас, в половине второго ночи, восьмой вагон спал. Тридцать два пассажира на пятьдесят четыре места. Варя знала каждого по билету, как учили: бабушка с внуком на девятнадцатом и двадцатом, два вахтовика на боковых, которые долго не могли уснуть и шептались о зарплате, женщина в вязаной шапке, которая попросила разбудить её в Гагарине, хотя поезд в Гагарине стоял всего две минуты и будить всё равно пришлось бы. Варя записала её в служебную тетрадку: «Двадцать седьмое, Гагарин, разбудить за двадцать минут». Тетрадку ей подарили на курсах, на обложке было написано «Проводник – лицо железной дороги». Варя тогда засмеялась, а теперь ей почему-то хотелось, чтобы это было правдой.

Она прошла по вагону, поправила свесившееся одеяло на третьей полке, где спал мальчишка лет десяти, проверила титан – вода горячая, уровень нормальный – и вернулась в служебное купе. Там на столике стоял её собственный стакан в подстаканнике. Подстаканник был старый, мельхиоровый, с выдавленным паровозом и надписью «Слава труду». Его ей отдала бабушка, когда Варя уезжала в Москву учиться.

– Мамин, – сказала тогда бабушка. – Носи. Не потеряй.

Варя не потеряла. Она вообще редко теряла вещи. Она теряла только людей, и то давно, и только одного.

В дверь служебного постучали. На пороге стоял начальник поезда, Аркадий Семёнович Хрусталёв, грузный мужчина лет пятидесяти пяти с тяжёлыми веками и аккуратно подстриженными усами. Китель на нём был застёгнут на все пуговицы, даже в два часа ночи. От него пахло одеколоном и валерьянкой.

– Лескова, – сказал он. – Не спишь.

– Не положено, Аркадий Семёнович.

– Мало ли что не положено. – Он помолчал, посмотрел на подстаканник, потом на неё. – Первый рейс у тебя.

– Первый на этом маршруте.

– Ну да. – Он опять помолчал. Варя ждала. Хрусталёв, кажется, собирался сказать что-то важное, но никак не мог подойти к словам, как старый пёс к незнакомой калитке. – Значит, так. В четыре тринадцать будет стоянка. Разъезд Сухая Ветла. Семь минут.

– В расписании её нет, – сказала Варя. Она учила расписание два вечера.

– Нет, – согласился Хрусталёв. – А стоянка есть. Техническая. Дверей не открывать. Пассажиров не выпускать. Курить никому не давать, хоть плачут. Поняла?

– Поняла.

– И ещё. – Он положил ладонь на косяк двери, и Варя увидела, что ногти у него обкусаны до мяса. – Если что-то услышишь в хвосте, не ходи смотреть. В тамбур за свой вагон не выходи. Там девятый.

– У нас восемь вагонов, – сказала Варя.

Хрусталёв посмотрел на неё так, будто она сказала глупость, которую он сам говорил себе много лет.

– Вот и я говорю, – произнёс он. – В девятый не ходи. Его нет.

Он ушёл, тяжело ступая, и дверь в тамбур хлопнула за ним с особым железным звуком, который Варя потом узнавала из тысячи. Она сидела и смотрела на подстаканник. Паровоз на нём был выдавлен неглубоко, края стёрлись от многих рук. Кто держал его до мамы? Бабушка говорила, что подстаканник маме подарили на работе, на десятилетие службы. Мама проработала проводницей одиннадцать лет. Последний год она ездила на этом поезде.

На девятом вагоне.

Варя знала это с детства. Не из рассказов бабушки, бабушка про ту ночь не рассказывала. Она знала это из школьного коридора, где мальчик из параллельного класса однажды сказал на весь коридор: «А у Лесковой мать пьяная вагон спалила, двадцать человек сгорело». Знала из взгляда соседки, тёти Гали, которая при встрече всегда спрашивала про бабушкино давление и никогда про маму. Знала из газетной вырезки, которую нашла в двенадцать лет в бабушкином комоде под стопкой наволочек. «По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность отопительного котла, оставленного без присмотра проводником вагона. В крови погибшей проводницы обнаружен алкоголь». Вырезка была пожелтевшая, буквы слепые. Варя прочла её четыре раза, потом положила обратно, расправив, чтобы бабушка не заметила.

Бабушка заметила. Ничего не сказала. Только вечером, когда Варя уже лежала в кровати, пришла, села на край и сказала в темноту:

– Нина не пила. Никогда. Даже на свадьбе своей шампанское не пила. Ты это запомни.

Варя запомнила.

Она посмотрела на часы. Три сорок. За окном было черно, иногда мелькали огни переездов, жёлтые и одинокие, как чьи-то бессонные кухни. Поезд шёл медленно, качало мягко. В вагоне кто-то храпел с присвистом. Варя встала, ещё раз прошла по вагону. Мальчишка на третьей полке спал, приоткрыв рот. Женщина в вязаной шапке не спала, лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок.

– Гагарин проехали? – шёпотом спросила она.

– Проехали, – так же шёпотом ответила Варя. – Я вас будила. Вы сказали, что передумали.

– Правда? – Женщина нахмурилась. – Не помню.

– Ничего. Обратно поедете из Вязьмы.

– Мне в Гагарин было нужно, – сказала женщина без особого огорчения, будто речь шла о чужом деле. – Ну и ладно. Значит, не нужно.

Варя пошла дальше. В конце вагона, за туалетом, был торцевой тамбур. Дверь из него вела в межвагонный переход, а за переходом не было ничего. Восьмой вагон был последним. Варя знала это, потому что в Москве, перед отправлением, сама обходила состав с осмотрщиком. Хвост восьмого вагона был глухой, с красным сигнальным фонарём. За ним рельсы, шпалы и снег, первый в этом году, мелкий и сухой.

Она открыла дверь в торцевой тамбур. Там было холодно, пахло железом. Дверь в переход была заперта, и на ней висела старая пломба, свинцовая, на проволоке. Такие уже лет десять никто не ставил. Варя посветила фонариком. На пломбе был оттиск: цифра девять и буквы, которые не читались.

Она постояла. Потом вернулась в служебное купе и села.

В четыре одиннадцать поезд начал тормозить. Тормозил долго, со скрипом, с тем особенным стоном, который бывает, когда машинист тормозит не потому, что хочет, а потому, что надо. Вагон дёрнуло. В соседнем купе кто-то сонно выругался. Потом поезд встал.

Варя выглянула в окно. Ничего. Ни платформы, ни фонаря, ни будки. Чёрный лес, а между лесом и вагоном полоса снега, неожиданно белая, как простыня. Вдалеке, впереди, светился красный огонь светофора.

Четыре тринадцать.

Варя смотрела на секундную стрелку. Ей было стыдно, но она ничего не могла с собой поделать: смотрела и считала. Первая минута прошла в тишине. Вторая тоже. Где-то в вагоне плакал младенец, хотя Варя точно помнила, что младенцев в её вагоне не было. Плач был тихий, далёкий, будто из-под воды. На третьей минуте он прекратился.

На четвёртой минуте в хвосте лязгнуло.

Это был очень знакомый звук. Его знает любой, кто хоть раз стоял на перроне, когда к составу подают вагон. Сначала глухой удар буферов, потом металлический щелчок автосцепки, потом скрежет, когда состав чуть подаётся назад и всё встаёт на место. Варя слышала этот звук сотни раз. Она не могла его ни с чем перепутать.

Кто-то прицепил к восьмому вагону ещё один.

Она вскочила. Сердце колотилось в горле. Варя вышла в коридор и пошла к торцевому тамбуру. Шла медленно, сама не понимая, зачем. Хрусталёв сказал не ходить. Хрусталёв был начальник поезда. Варя слушалась начальников, это было одно из её правил, наравне с правилом не терять вещи.

Она дошла до двери тамбура и остановилась.

Из-за двери тянуло холодом и чем-то ещё. Запах был слабый, но Варя его узнала сразу, хотя никогда не нюхала его в жизни. Это был запах старой гари. Не свежего дыма, не костра, а того, что остаётся через много лет после пожара: сырой уголь, обугленное дерево, размокшая краска. Так пахнут дома, которые сгорели давно и которые никто не разобрал.

За дверью кто-то прошёл. Шаги были лёгкие, неторопливые. Потом звякнул металл, будто кто-то задел фонарём о поручень.

Варя протянула руку к ручке.

– Лескова!

Она подпрыгнула. Хрусталёв стоял в другом конце вагона, у служебного купе, и даже отсюда было видно, какое у него серое лицо.

– Иди сюда, – сказал он негромко, но так, что вагон, казалось, проснулся. – Сейчас же.

Варя пошла. Ноги были ватные. Хрусталёв взял её за локоть и втолкнул в служебное купе, сам встал в дверях, спиной к коридору.

– Я что тебе сказал?

– Там прицепили вагон, – сказала Варя. – Вы слышали?

– Ничего я не слышал. – Он посмотрел на часы. – Четыре девятнадцать. Сиди тут. Чай пей.

– Аркадий Семёнович…

– Чай пей, говорю.

Поезд дёрнулся и пошёл. Медленно, потом быстрее. Варя смотрела в окно и видела, как красный светофор впереди сменился жёлтым, потом исчез за поворотом. Седьмая минута закончилась.

Хрусталёв постоял ещё немного, глядя в коридор, потом сказал, не оборачиваясь:

– В Вязьме выходишь на перрон, как положено. Встречаешь, провожаешь, с тряпкой у двери. Если кто-то из хвоста пойдёт мимо тебя – не останавливай. Не спрашивай ни о чём. Билеты не проверяй. Они не твои пассажиры.

– А чьи?

Хрусталёв обернулся. Варя впервые увидела, что глаза у него мокрые.

– Ничьи, – сказал он. – Поняла меня, Лескова? Ничьи.

Он ушёл. Варя села и долго смотрела на свой подстаканник. Потом налила чай из титана, бросила два кусочка сахара и выпила, обжигаясь. Чай был безвкусный. Руки всё-таки дрожали.

Без двадцати пять она пошла будить пассажиров. Вахтовики проснулись сразу, по-армейски, бабушка с внуком долго собирали вещи, мальчишка с третьей полки никак не мог найти второй ботинок. Варя нашла его под нижней полкой у соседей, и мальчишка посмотрел на неё с таким уважением, будто она сняла с дерева кошку. Женщина в вязаной шапке уже сидела одетая и смотрела в окно.

– А там кто-то есть, – сказала она Варе, кивнув на торцевую дверь. – Ходят.

– Это из другого вагона, – сказала Варя и сама удивилась, как спокойно это прозвучало.

– А, – сказала женщина. – Ну, ходят и ходят.

В пять двенадцать поезд пришёл в Вязьму.

Вязьма была её городом. Здесь она выросла, здесь ходила в школу, здесь на этом самом вокзале покупала мороженое в зелёной будке, которой давно не было. Здание вокзала, длинное, жёлтое, с белыми колоннами, освещённое фонарями, стояло как всегда, и над ним висело низкое ноябрьское небо, ещё совсем тёмное. Падал снег. На перроне было пусто: два носильщика с тележкой, сонная женщина в оранжевом жилете с метлой, полицейский у входа в вокзал.

Варя открыла дверь, протёрла поручни, откинула площадку и встала, как учили, с флажком в чехле. Пассажиры выходили, кивали, кто-то говорил спасибо. Мальчишка помахал ей рукой. Женщина в вязаной шапке вышла последней, постояла на перроне, огляделась и пошла не к вокзалу, а в обратную сторону, к хвосту поезда. Варя хотела её окликнуть и не окликнула.

Она стояла и смотрела вдоль состава. Восьмой вагон, последний. За ним – это было видно отсюда даже в полутьме – стоял ещё один.

Он был тёмный. Окна не горели. Он был старше всех вагонов в составе лет на тридцать: зелёный, с покатой крышей, с овальными табличками, с теми самыми ручками-поручнями, которые Варя видела только в железнодорожном музее. Номер на борту читался плохо, но читался. Девять.

Двери девятого вагона были открыты. Из них выходили люди.

Они выходили по одному, не торопясь. Мужчина в длинном сером пальто и шляпе. Молодая женщина в болоньевой куртке с капюшоном. Старик с тростью. Ещё одна женщина, в платке. Подросток в школьной форме, какой не носили лет двадцать. Они спускались на перрон осторожно, как люди, которые давно не стояли на твёрдой земле, и оглядывались. Один мужчина задрал голову и посмотрел на снег так, как смотрят на чудо.

Никто их не встречал. Хотя нет. На дальнем конце перрона, за световой полосой, стоял микроавтобус, чёрный, с тонированными стёклами. Возле него курил человек в тёмной куртке. Варя видела только огонёк сигареты.

Люди из девятого вагона шли вдоль состава. Мимо восьмого. Мимо Вари.

Она стояла, держала флажок и не дышала. Первым прошёл мужчина в шляпе. Он даже не посмотрел на неё. Лицо у него было бледное, обычное, гладко выбритое, и от него – Варя готова была поклясться – пахло той самой гарью. Потом женщина в болоньевой куртке. Потом старик. Старик шёл медленно, и Варя увидела, что часы у него на запястье, старые, с треснувшим стеклом, стоят. Стрелки показывали без пяти два.

Последней шла старушка. Маленькая, в зимнем пальто с цигейковым воротником, в пуховом платке, завязанном под подбородком. В руке она держала авоську, а в авоське ничего не было. Старушка поравнялась с Варей и остановилась.

– Дочка, – сказала она. Голос был тихий, чуть надтреснутый, совершенно живой. – Ты не скажешь, какое сегодня число?

Варя открыла рот. Закрыла. Потом сказала:

– Пятнадцатое.

– А месяц?

– Ноябрь.

– Ноябрь, – повторила старушка. Она посмотрела на снег, на фонари, на жёлтый вокзал. – А год?

Варя назвала год. Старушка помолчала, медленно кивнула, будто подтвердилось что-то давно известное.

– Долго, – сказала она. – Долго же я.

– Что долго? – спросила Варя.

Старушка посмотрела на неё. Глаза у неё были светлые, выцветшие, и в них не было ни страха, ни удивления, только бесконечная усталость, какая бывает у людей, которые простояли очередь целый день и только к вечеру поняли, что стояли не в ту.

– Ехала, – сказала старушка. – Спасибо тебе, дочка. Ты хорошая. Ты на маму похожа.

– Вы знали мою маму? – выдохнула Варя.

Но старушка уже шла дальше, к микроавтобусу, мелкими шажками, придерживая платок у горла. Человек с сигаретой бросил окурок, открыл дверь микроавтобуса и помог ей сесть. Потом сел сам, и микроавтобус тронулся, без огней, и исчез за углом пакгауза.

Варя повернулась к хвосту поезда.

Девятого вагона не было.

За восьмым вагоном лежали рельсы, белые от снега. Снег на них был ровный, нетронутый, без следов колёс. Красный сигнальный фонарь горел на торце восьмого, как ему и положено. Всё было так, как Варя видела в Москве, когда обходила состав с осмотрщиком.

Она стояла с флажком ещё долго. Потом к ней подошла женщина в оранжевом жилете с метлой.

– Холодно, – сказала женщина. – Ты бы зашла внутрь, девонька.

– Вы видели? – спросила Варя. – Там был вагон.

Женщина посмотрела на неё, потом на хвост поезда, потом снова на неё. В её взгляде не было ни насмешки, ни удивления.

– Первый рейс у тебя? – спросила она.

– Первый, – сказала Варя.

– Вот и не смотри туда больше, – сказала женщина и пошла дальше, мерно махая метлой, сметая с перрона снег, на котором не было ничьих следов, кроме Вариных.

Варя вернулась в вагон. Закрыла дверь. Прошла по пустому коридору, собирая бельё, снимая наволочки, складывая одеяла, как делала это сотни раз на южных рейсах. Работа успокаивала. Руки знали, что делать.

В торцевом тамбуре она остановилась. Пломба на двери в переход висела на прежнем месте. Варя посветила на неё фонариком.

Проволока была перекушена. Свинцовый кругляш висел на одном конце, покачиваясь от сквозняка. А на полу тамбура, у самой двери, лежал маленький картонный прямоугольник.

Варя подняла его. Это был железнодорожный билет. Старый, плотный, картонный, какие продавали когда-то в кассах, с пробитой компостером дыркой. «Москва – Вязьма. Поезд 668. Вагон 9. Место 31». Дата на билете была пробита компостером, мелко, но разборчиво. Варя поднесла билет к фонарику и прочла дату трижды, прежде чем поняла.

Билет был выдан девять лет назад.

Она перевернула его. На обороте химическим карандашом, бледно-фиолетовым, кто-то написал аккуратным женским почерком: «Орешкина К. И.».

Варя стояла в холодном тамбуре и держала в руке билет, и за дверью в переход не было ничего, кроме ветра, а под ногами у неё мелко дрожал пол, хотя поезд стоял.

Глава 2. Орешкина Клавдия Ивановна

Бабушка жила на Ямской улице, в деревянном доме с зелёными наличниками, который строил ещё её отец. Дом осел на один угол, как старик, который устал стоять ровно, и печная труба на нём была чуть кривая. Каждую весну бабушка говорила, что трубу надо перекладывать, и каждую осень говорила, что до весны доживёт и так.

Варя пришла к ней в седьмом часу, когда сдала вагон сменному осмотрщику и расписалась в журнале. Поезд стоял в Вязьме до вечера, обратно он уходил в двадцать три десять, и у бригады был почти целый день отдыха. Проводники обычно спали в комнате отдыха на втором этаже вокзала, на продавленных диванах, под бормотание телевизора. Варя спать не могла. Она шла по тёмной улице, мимо закрытых ларьков и спящих пятиэтажек, и всё время держала руку в кармане куртки, где лежал картонный билет.

Бабушка открыла сразу, будто стояла под дверью.

– Пришла, – сказала она. – Я так и знала, что не уснёшь. Заходи, тесто подошло.

В доме пахло дрожжами и печкой. Агния Фёдоровна Лескова, семидесяти четырёх лет, бывшая учительница математики, вдова, мать погибшей дочери, стояла у стола в фартуке, засыпанном мукой, и раскатывала тесто бутылкой из-под шампанского. Скалку она не признавала, говорила, что бутылка лучше: тяжелее и не липнет. Бутылка стояла в доме столько, сколько Варя себя помнила. Шампанское из неё выпили когда-то на свадьбе мамы. Мама к нему не притронулась.

– Ну, как? – спросила бабушка, не поднимая головы.

– Нормально, – сказала Варя. – Пассажиры спокойные.

– Спокойные. – Бабушка надавила на бутылку так, что тесто брызнуло к краям стола. – Хрусталёв тебе что говорил?

Варя замерла, не успев снять второй ботинок.

– Ты знаешь Хрусталёва?

– Я всех знаю. – Бабушка всё-таки подняла голову. Лицо у неё было узкое, строгое, с глубокими складками у рта, а глаза мамины, серые, как речная вода в пасмурный день. Варя каждый раз вздрагивала, когда замечала это. – Хрусталёв тогда ещё проводником ездил. На седьмом вагоне. Он маме твоей в соседях был.

– Он ничего не говорил, – сказала Варя. – Сказал, чтобы я на техническую стоянку двери не открывала.

– И правильно сказал.

Варя сняла второй ботинок, прошла в комнату, села на диван под ковром с оленями. На стене напротив висела мамина фотография в деревянной рамке. Мама на ней была молодая, моложе, чем Варя сейчас, в форменном берете набок, смеющаяся. Фотографию сделали на вокзале в Москве, за спиной у мамы был виден край часов и кусок вывески. Варя знала эту фотографию лучше, чем собственное лицо. Иногда ей казалось, что настоящую маму она уже не помнит, а помнит только фотографию: берет, улыбку, ямочку на левой щеке.

Бабушка вошла, вытирая руки полотенцем, села рядом. Помолчали. Потом бабушка сказала:

– Ты видела.

Это был не вопрос. Варя хотела соврать, но не смогла. Она достала из кармана картонный билет и положила его на колени бабушке.

Агния Фёдоровна взяла билет двумя пальцами, как берут что-то горячее. Поднесла к глазам, потом отодвинула, нашла на столике очки, надела. Долго смотрела на лицевую сторону. Потом перевернула и прочитала надпись на обороте.

– Орешкина, – сказала она. – Клава Орешкина.

– Ты её знаешь?

– Знала. – Бабушка положила билет на столик и сняла очки. – В аптеке на Ленина работала. Провизором. Я у неё валидол покупала, она мне всегда в долг давала, если пенсию задерживали. Хорошая была женщина. Умерла лет девять назад. Инсульт. Я на похоронах была, на Бозне её хоронили, рядом с мужем.

– Она сегодня приехала, – сказала Варя. – На поезде. Из девятого вагона.

Бабушка ничего не ответила. Она смотрела на фотографию мамы.

– Бабушка. Девятого вагона нет. Хрусталёв так сказал. А он есть. Его прицепили на стоянке у Сухой Ветлы, я слышала. Из него вышли люди. Человек десять. Их встретили, посадили в машину и увезли. А потом вагон пропал. Там даже следов на снегу не было.

– Варвара, – сказала бабушка. Она называла её полным именем только тогда, когда была по-настоящему испугана. Последний раз это было, когда Варя в девятом классе ушла ночью на речку с одноклассниками и не предупредила. – Ты устала. Ты первый раз на этом поезде. Мало ли что в четыре утра покажется.

– А билет?

– Билет кто-нибудь обронил.

– Девятилетней давности? С фамилией твоей Клавы на обороте? В вагоне, которого нет?

Бабушка встала. Подошла к окну, отодвинула занавеску. За окном светало, серо и неохотно. Через дорогу у соседей залаяла собака, и тут же замолчала.

– Я тебя просила не идти на этот маршрут, – сказала бабушка, не оборачиваясь.

– Ты просила. Я пошла.

– Почему?

Варя долго не отвечала. Потом сказала то, чего не говорила никому, даже себе вслух:

– Потому что про маму все врут. А правды никто не знает. А я хочу знать.

Бабушка обернулась. Варя ожидала, что она рассердится, но бабушка только посмотрела на неё так, как смотрят на человека, который упал с велосипеда и ещё не понял, что разбил коленку.

– Правду, – повторила бабушка. – Ох, Варя. Иди спать. Ляг у меня, в маминой комнате. Я пирожки поставлю, к обеду разбужу.

Варя хотела спорить, но вдруг поняла, что действительно смертельно устала. Она легла в маленькой комнате, где стояла узкая мамина кровать, застеленная покрывалом с вышитыми маками, и уснула мгновенно, как в яму упала. Ей ничего не снилось. Только перед самым пробуждением показалось, что кто-то стоит у изголовья и пахнет гарью, но когда она открыла глаза, в комнате никого не было, а из кухни пахло пирожками с капустой.

После обеда она сказала бабушке, что пойдёт пройдётся.

– На Бозню пойдёшь, – сказала бабушка. Опять не вопрос.

– Пойду.

Бабушка помолчала, завернула в газету четыре пирожка и сунула их Варе в карман куртки.

– Участок у них за часовней, если от главного входа налево, третий ряд. Памятник серый, с фотографией. Муж её, Пётр Николаевич, рядом, под крестом. Варя.

– Что?

– Если там кто-то будет, не подходи.

Варя кивнула и вышла.

Кладбище на Бозне было старое, тесное, заросшее берёзами. Летом здесь было тенисто и даже красиво, а сейчас, в ноябре, голые берёзы стояли над могилами, как сторожа, и снег лежал тонким слоем на оградках, на скамейках, на пластмассовых цветах. От главных ворот вверх уходила дорожка, по сторонам которой теснились памятники: гранитные, мраморные, железные, деревянные кресты, звёзды. У часовни, маленькой, белой, с синим куполом, стояли две

машины. Одна – старые «Жигули» сторожа. Другая – большой чёрный внедорожник, чистый, блестящий, с номерами, которые Варя не разглядела.

У дверей сторожки, маленького кирпичного домика с одним окном, стоял сторож, дед в ватнике и валенках с галошами. Он смёл снег с крыльца и опёрся на метлу, разглядывая Варю.

– К кому идёшь? – спросил он без особого любопытства.

– К Орешкиной, – сказала Варя. – Клавдии Ивановне.

Дед перестал опираться на метлу. Посмотрел на чёрный внедорожник у часовни, потом снова на Варю.

– Сегодня к ней многолюдно, – сказал он. – С утра сын приехал. Не один.

– С кем?

– С кем надо, с тем и приехал. – Дед сплюнул в снег. – Ты вот что, девонька. Я тут двадцать лет сторожу. Всякое видал. Видал, как вдовы на могилах ночуют. Видал, как пьяные гроб обратно выкапывать лезли. А последние годы стал видать, что приезжают к могилкам не одни. Приезжают с теми, кто в могилке. Постоят, поплачут, уедут. А через неделю сын один приезжает. И плачет уже по-другому. Тише.

– Вы кому-нибудь говорили?

– А кому? – удивился дед. – Батюшке? Батюшка мне сказал: молись, Семёныч, и пить бросай. Я пить бросил. А они ездить не бросили. – Он снова взялся за метлу. – Иди. Только тихо иди. Третий ряд за часовней.

Она свернула налево, за часовню. Третий ряд. Шла медленно, читая надписи. Кузнецовы, Петровы, какой-то Ахмедов с полумесяцем, детская могилка с плюшевым зайцем, выгоревшим до белизны. Потом увидела.

Серый памятник, гранитная крошка, овальная фотография на керамике. На фотографии старушка в тёмной кофточке, со строгим лицом и светлыми глазами. Надпись: «Орешкина Клавдия Ивановна». И даты. Варя посчитала. Девять лет назад, тринадцатое ноября.

Рядом, под крестом с табличкой «Орешкин Пётр Николаевич», лежали свежие гвоздики.

А на скамейке у оградки сидела старушка в зимнем пальто с цигейковым воротником, в пуховом платке, завязанном под подбородком.

Варя остановилась так резко, будто врезалась в стекло. Старушка сидела прямо, сложив руки на коленях, и смотрела на памятник. На свой собственный памятник. На свою фотографию. На свои даты. Лицо у неё было спокойное. Рядом с ней стоял мужчина лет пятидесяти, полный, в дорогом пальто, без шапки, с красными от холода ушами. Он держал старушку за руку и плакал. Плакал беззвучно, некрасиво, как плачут взрослые мужчины, которые не умеют плакать: лицо перекошено, рот открыт, слёзы текут прямо в воротник.

– Мама, – говорил он. – Мамочка. Прости. Я не приехал тогда. Я в Москве был, мне сказали, что ты в больнице, а я думал – выпишут, я думал, у меня сделка, я в пятницу приеду. Я в пятницу приехал, мама. А ты в четверг. Прости меня.

– Витя, – сказала старушка. Голос был тот же, надтреснутый и живой. – Ну что ты. Ну перестань. Я же не сержусь.

– Я каждый год, каждый год… – Мужчина всхлипнул. – Я не мог, понимаешь? Я спать не мог.

– Глупый ты, – ласково сказала старушка и погладила его по руке. – Я ведь тебя родила, разве я сердиться буду? Ты бы лучше шапку надел. Простынешь.

Варя стояла за чужой оградкой, в двух рядах от них, и не могла сдвинуться с места. Ей было стыдно подслушивать. Ей было страшно. И ещё было что-то третье, чему она не знала названия, но от чего щипало в носу и хотелось сесть прямо в снег.

Старушка подняла голову и увидела её.

– Дочка, – сказала она удивлённо и обрадованно. – Это ты. С поезда.

Мужчина резко обернулся. Слёзы на его лице мгновенно высохли, будто их стёрли. Он шагнул вперёд, загораживая мать.

– Вы кто? – спросил он. – Вы откуда?

– Я проводница, – сказала Варя. – Восьмого вагона. Я…

– Нам не нужно никаких проводниц. – Голос у мужчины был резкий, начальственный, голос человека, который привык, что его слушаются. – Мы всё оплатили. По договору. Мы ни с кем не разговариваем. Вас прислали проверить? Передайте, что всё в порядке. Мы знаем правила.

– Какие правила? – спросила Варя.

Мужчина осёкся. Посмотрел на неё внимательнее. Видно было, что он соображает, и соображения ему не нравятся.

– Вас не присылали, – медленно сказал он.

– Нет.

– Тогда уходите. – Он понизил голос. – Девушка, я вас прошу. Уходите. У меня семь дней. Понимаете? Семь. Я за них отдал больше, чем стоит моя квартира. Я не хочу, чтобы… Уходите, пожалуйста.

– Витя, – сказала старушка с укором. – Что ты кричишь на неё? Она хорошая девочка. Она мне число сказала.

– Мама, помолчи, пожалуйста.

– Не помолчу. – Старушка встала со скамейки, опираясь на оградку, и подошла к ним. Шла она мелкими шажками, точно так же, как утром на перроне. – Подойди-ка, дочка.

Варя подошла. Старушка взяла её за руку. Рука у неё была холодная. Не как у человека, который замёрз, а как у вещи, которая долго лежала на улице: ровно холодная, без тепла внутри, без пульса под пальцами. Варя вздрогнула и не отняла руку.

– Ты Нинина, – сказала старушка. – Я сразу поняла. Ямочка у тебя. Вот тут.

– Вы её помните?

– Помню. Она в аптеку приходила, анальгин для матери брала. И тебя приводила, маленькую. Ты всё на весы просилась.

Варя этого не помнила. Совсем. В горле встал ком.

– Вы её видели? – спросила она шёпотом. – Там?

Старушка посмотрела на неё долгим взглядом. Потом на сына. Потом снова на Варю. Что-то в её лице изменилось, будто тень прошла.

– Там темно, – сказала она наконец. – И едешь, едешь. Не спишь и не бодрствуешь. Как в поезде ночью, когда и глаза закрыть страшно, и открыть незачем. А потом кто-то читает твоё имя. Вслух. И ты встаёшь. И выходишь.

– Кто читает?

– Не знаю. Голос мужской. Старый. – Старушка поморщилась, будто вспоминала что-то неприятное. – А в вагоне проводница ходит. С фонарём. Ходит и ходит. Молчит. Только раз сказала мне: «Потерпите, Клавдия Ивановна, скоро». А что скоро, не сказала.

– Какая она была? – Варя услышала, что её собственный голос дрожит. – Проводница?

– Мама, хватит, – сказал Виктор и взял мать под локоть. – Нам пора. Машина ждёт.

– Подожди…

– Нам пора. – Он почти тащил её по дорожке. Старушка оглянулась через плечо.

– Молодая, – сказала она. – С ямочкой.

Виктор увёл её. Варя стояла у могилы Клавдии Ивановны Орешкиной и смотрела им вслед. У часовни открылась задняя дверь чёрного внедорожника. Из машины вышел человек, высокий, сухой, в тёмной куртке, с выбритым затылком и лицом, похожим на топор. Он ничего не сказал, просто открыл дверь пошире, и Виктор посадил мать на заднее сиденье, сел рядом.

Человек с лицом-топором закрыл дверь, обошёл машину, сел за руль. Перед тем как сесть, он посмотрел в сторону Вари.

Было далеко. Метров семьдесят, не меньше. Но Варя увидела, что он смотрит именно на неё, и почувствовала этот взгляд, как сквозняк по шее.

Внедорожник уехал.

Варя села на скамейку, где только что сидела мёртвая старушка, и сидела долго. Снег падал на гвоздики. Где-то за часовней каркали вороны. Она вытащила из кармана пирожок, бабушкин, ещё тёплый, откусила и не почувствовала вкуса.

Семь дней. Договор. Правила. Машина ждёт. Голос мужской, старый, читает имя вслух. Проводница с фонарём, молодая, с ямочкой.

Мама погибла в тридцать один год. Пятнадцать лет назад. Если бы она была жива, ей было бы сорок шесть. Она была бы старше. А если не жива, если она там, в темноте, где едешь, едешь и не спишь, то она осталась молодой. Тридцать один. Ямочка на левой щеке.

Варя доела пирожок. Встала. Отряхнула снег с куртки. Подошла к памятнику, посмотрела на фотографию Клавдии Ивановны и сказала вслух, сама не зная зачем:

– Спасибо.

Потом пошла к выходу, быстро, почти бегом.

Бабушка ждала её дома с чаем. Она не спросила ни о чём. Варя сама рассказала всё: про скамейку, про сына, про семь дней, про холодную руку и про машину с человеком, у которого лицо как топор. Бабушка слушала молча. Когда Варя дошла до проводницы с фонарём, бабушка поставила чашку на блюдце так аккуратно, что не раздалось ни звука.

– Шабанов, – сказала она.

– Что?

– Тот, с лицом. Его Корней зовут. Корней Шабанов. Он у Ступина служит. Начальником охраны, или как это у них теперь называется.

– У какого Ступина?

– У Глеба Аркадьевича. – Бабушка произнесла имя так, будто сплюнула. – Он тогда, пятнадцать лет назад, был замом начальника отделения дороги. А теперь у него похоронное бюро «Тихая пристань». И фонд какой-то. Помогает скорбящим. Его в газете хвалят каждый месяц. Он больнице аппарат подарил, церкви колокол.

– А при чём тут…

– А при том, что Шабанов той ночью был на поезде, – сказала бабушка. – На твоём поезде. На мамином. Сопровождающим. Я это знаю, потому что Хрусталёв мне сказал. Один раз, пьяный, на поминках. Потом протрезвел и сказал, что я ослышалась. А я не ослышалась, Варвара. Я тридцать лет в школе проработала, у меня слух на вранье лучше, чем у собаки.

Варя смотрела на неё и не знала, что сказать.

– Что он сопровождал?

– Не знаю. Груз какой-то. В мамином вагоне. – Бабушка взяла чашку обеими руками, будто грела ладони, хотя чай давно остыл. – Нина накануне пришла домой злая. Сказала, что ей в вагон ящики суют без документов, а она не возьмёт. Я говорю: Нинка, не связывайся, это начальство. А она: я проводник, я за вагон отвечаю, мне без документов нельзя. Упрямая была, как ты. А через день…

Она не договорила. Варя протянула руку и накрыла бабушкину ладонь своей. Бабушкина рука была тёплая, сухая, живая, и от этого почему-то стало ещё страшнее.

– Я поеду обратно сегодня, – сказала Варя. – Рейс.

– Знаю.

– И буду ездить.

– Знаю, – сказала бабушка. – Я тебя не держу. Тебя держать – всё равно что Нину держать было. Только послушай меня. Один раз. Не лезь туда, куда её затянуло. Смотри – смотри. Запоминай. Но не лезь.

Варя кивнула. Она хотела, чтобы это было правдой. Но даже кивая, она знала, что врёт, и бабушка тоже это знала, потому что у неё был слух на вранье лучше, чем у собаки.

В половине одиннадцатого вечера Варя была на вокзале. Поезд номер шестьсот шестьдесят семь «Вязьма – Москва» стоял у первой платформы, восемь вагонов, тепловоз, красный фонарь на хвосте. Хрусталёв курил у штабного вагона и не смотрел в её сторону. Варя поднялась в свой восьмой, проверила титан, включила свет, разложила бельё. Потом вышла в торцевой тамбур и посветила на дверь в переход.

Пломбы не было вовсе. Кто-то снял её целиком, вместе с проволокой. А за дверью, за мутным стеклом, в темноте у дальнего конца платформы, стоял зелёный вагон с покатой крышей, с овальными табличками и с цифрой девять на борту, и в одном его окне, в самом конце, горел маленький жёлтый огонёк, будто кто-то держал в руке фонарь.

Глава 3. Бесплатный билет

Посадка на шестьсот шестьдесят седьмой начиналась в двадцать два сорок. К этому времени снег перестал, и над Вязьмой вызвездило. Мороз был небольшой, градуса четыре, но после дневной сырости он пробирал до костей. Варя стояла у двери восьмого вагона в форменной куртке, в перчатках, с фонариком и проверяла билеты. Пассажиров на обратный рейс было меньше: девятнадцать человек. Студенты, едущие в Москву на неделю, пожилая пара с котом в переноске, мужчина с огромной клетчатой сумкой, который сразу попросил кипятку и стакан.

Варя улыбалась, отрывала контроль, говорила «проходите, двенадцатое место, это в третьем купе слева» и всё время чувствовала спиной хвост поезда. Она не оборачивалась. Она дала себе слово не оборачиваться, пока не закончится посадка.

– Лескова?

Она вздрогнула. Перед ней стоял молодой человек в полицейской форме, в шапке, с планшетом под мышкой. Высокий, худой, лет двадцати семи, с острым носом и внимательными глазами, тёмными и чуть усталыми. На груди у него был жетон линейного отдела.

– Лейтенант Рябов, – сказал он. – Линейный отдел полиции на станции Вязьма. Вы Варвара Лескова, проводник восьмого вагона?

– Я, – сказала Варя. – Что-то случилось?

– Пока нет. – Он чуть улыбнулся, но глаза остались серьёзными. – Я еду с вами до Москвы. Сопровождение. Хотел бы поговорить, когда пассажиры улягутся. Найдёте время?

– Найду. А о чём?

– О вашем предшественнике. – Рябов посмотрел на неё внимательно, будто проверял, как она отреагирует. – Геннадии Сомове. Вы его знали?

– Нет. Я только слышала, что он уволился.

– Он не уволился, – сказал Рябов. – Он пропал. Три месяца назад. Ушёл в рейс и не вернулся. Я веду это дело. Точнее, я один из немногих, кто его ещё ведёт. – Он помолчал. – После отправления зайду.

Он козырнул и пошёл вдоль состава к штабному вагону. Варя смотрела ему вслед. Он шёл к голове поезда и ни разу не взглянул на хвост.

Без пяти одиннадцать к восьмому вагону подошёл мужчина. Варя услышала его раньше, чем увидела: он пел. Пел негромко, сипло, что-то про ямщика и степь, и пел, надо сказать, неплохо, хотя и путал слова. Мужчина был небритый, в старой синей куртке с оторванным капюшоном, в спортивных штанах и в ботинках без шнурков. От него пахло перегаром, табаком и давно не стиранной одеждой. В руке он держал билет, новенький, напечатанный на обычном бланке, а на билете стоял синий штамп, круглый, с маленьким изображением горящей свечи.

– Барышня, – сказал мужчина, перестав петь, и галантно наклонил голову. – Георгий Палыч Кукушкин. Для своих Жора. Мне туда.

Он показал рукой в хвост поезда.

Варя взяла билет. «Вязьма – Москва. Поезд 667. Вагон 9. Место 12». Внизу, под штампом со свечой, мелким шрифтом: «Благотворительный проезд. Фонд помощи “Свеча”».

– Девятого вагона нет, – сказала Варя.

– Как нет? – удивился Жора. – Мне сказали – есть. Барышня в белой куртке сказала. Хорошая такая, из фонда. Она мне билет дала и тысячу рублей на дорогу. И бутылку. – Он похлопал себя по куртке, где что-то булькнуло. – Говорит, в Москве встретят, в ночлежку устроят, на работу. Говорит, иди в самый хвост, Георгий Павлович, там тебя ждут.

Варя посмотрела ему за спину. На перроне, у фонарного столба, стояла молодая женщина в белой стёганой куртке, с папкой в руках. Она смотрела на Жору, и когда Варя подняла глаза, женщина отвернулась и быстро пошла к вокзалу.

– Георгий Павлович, – сказала Варя. – Заходите ко мне. В восьмой. У меня свободных мест полно. Вот, двадцать первое, нижнее. Чаю дам.

– Так мне же в девятый, – растерялся Жора.

– Девятый закрыт. Ремонт. Заходите.

Жора посмотрел на неё, на хвост поезда, опять на неё. В его мутных глазах шевельнулось что-то, похожее на недоверие. Потом он пожал плечами.

– Чаю – это можно, – сказал он и полез в вагон, цепляясь за поручни.

Варя проводила его до двадцать первого места, выдала бельё, принесла чай в стакане без подстаканника и сахар. Жора сел, обхватил стакан грязными ладонями и благодарно зажмурился.

– Хорошая ты, – сказал он. – Как звать?

– Варя.

– Варя. – Он кивнул. – У меня сестра была Варя. Младшая. В Калуге живёт. Не видались лет двадцать. Обиделась она на меня. Есть за что.

Варя вернулась к двери. До отправления оставалось семь минут. И тогда она обернулась.

Девятый вагон стоял за восьмым. Он стоял так, будто был там всегда: сцепка, переходная площадка, гармошка, тёмные окна. Только в одном окне, в самом конце, горел жёлтый огонёк. Двери были открыты.

А по перрону, от вокзала, шли люди.

Их было семеро. Варя посчитала, сама не зная зачем. Они шли не спеша, тихо, как ходят на похоронах. Мужчина в длинном пальто. Женщина средних лет в красном берете. Двое стариков, муж и жена, держались за руки. Молодой парень в армейской форме, очень коротко стриженный, с лицом, на котором не было никакого выражения. Женщина с девочкой лет пяти на руках, девочка спала, положив голову матери на плечо. И с каждым из них рядом шёл кто-то живой.

Варя поняла это не сразу. Сначала ей показалось, что это просто провожающие. Но провожающие не держат человека под локоть так, как держат арестованного. Провожающие не оглядываются по сторонам. Рядом с мужчиной в длинном пальто шёл его, по всей видимости, сын, лет сорока, и лицо у сына было мокрое. Рядом со стариками шла женщина в норковой шубе, и она тоже плакала. А чуть позади, отдельно, шли ещё шестеро. Двое мужчин, по виду бездомные, такие же небритые и потрёпанные, как Жора. Пожилая женщина в мужском пальто, с мешком через плечо. Двое неприметных, серых, в одинаковых вокзальных шапках, которых Варя не разглядела. И мальчишка лет семнадцати, худой, в одной толстовке, с наушниками на шее. Этих шестерых вели под руки люди в одинаковых тёмных куртках.

Процессия дошла до девятого вагона. Мёртвые – Варя уже не сомневалась, что это мёртвые, – стали подниматься внутрь по одному. Живые, которые их провожали, останавливались у ступенек. Сын мужчины в длинном пальто обнял отца, долго не отпускал, потом отступил. Женщина в шубе поцеловала старикам руки. Девочка на руках у матери проснулась, посмотрела вокруг и снова уснула.

А потом люди в тёмных куртках подвели к ступенькам тех шестерых. Бездомных. Женщину с мешком. Мальчишку с наушниками.

Мальчишка вдруг рванулся. Резко, неожиданно, как зверёк. Человек в куртке перехватил его, заломил руку, что-то сказал на ухо. Мальчишка обмяк. Его подтолкнули к ступенькам, и он поднялся в вагон.

Варя стояла с открытым ртом. Она хотела закричать. Она должна была закричать. Но горло перехватило, и вместо крика получился сиплый выдох.

– Не смотри, – сказал кто-то рядом.

Хрусталёв стоял у соседней двери, у седьмого вагона, и смотрел на часы. Он был бледный, губы сжаты в нитку.

– Там мальчишку силой затолкали, – сказала Варя. – Аркадий Семёнович. Там…

– Я видел.

– Надо полицию. Там лейтенант в штабном.

– Лейтенант ничего не увидит, – сказал Хрусталёв. – Он туда не смотрит. Они все не смотрят. Только мы.

– Кто – мы?

– Бригада. И те, кто хоть раз брал в руки ихний билет. – Хрусталёв посмотрел на неё, и Варя поняла, что он знает и про картонный билет Орешкиной, лежащий у неё в кармане. – Ты зачем его подобрала, дура?

Он не стал ждать ответа. Свистнул, махнул рукой, полез в свой вагон.

Варя закрыла дверь восьмого. Поезд дёрнулся и пошёл. Девятый вагон плавно тронулся вместе со всем составом, будто был к нему приварен.

Первый час всё было тихо. Пассажиры легли. Пожилая пара долго успокаивала кота, который мяукал в переноске, как сирена. Мужчина с клетчатой сумкой выпил четыре стакана чаю и уснул сидя. Жора на двадцать первом месте лёг поверх одеяла, не раздеваясь, и захрапел. Варя проверила, дышит ли он, и сама не поняла, зачем.

В половине двенадцатого в служебное купе постучал лейтенант Рябов.

– Можно?

– Заходите.

Он сел напротив, снял шапку. Волосы у него были тёмные, коротко стриженные, со смешным вихром на макушке. Он положил на столик планшет, открыл, пролистал.

– Геннадий Сомов, – сказал он. – Тридцать четыре года. Проводник восьмого вагона этого поезда последние два года. Двенадцатого августа заступил на рейс шестьсот шестьдесят семь. По словам начальника поезда, в два часа ночи был в своём служебном купе. В пять тридцать, по прибытии в Москву, отсутствовал. Вагон был заперт изнутри. Вещи на месте. Телефон на столике. Никто ничего не видел и не слышал.

– Я знаю только, что место было свободное, – сказала Варя.

– Место. – Рябов посмотрел на неё. – Вы здесь сидите. Вот здесь он и сидел. Его сестра утверждает, что последние полгода он вёл себя странно. Пил успокоительное. Не спал. Говорил, что поезд ходит с лишним вагоном. Что на этом вагоне ездят покойники. Сестра думала, что у него шизофрения, хотела вести его к врачу. Не успела.

Варя молчала. В окне мелькнул огонёк переезда.

– Начальство считает, что Сомов сошёл с ума и спрыгнул с поезда на ходу, – продолжил Рябов. – Тело не нашли, но тела не всегда находят. Лес, болота. Дело практически закрыли. А я не верю.

– Почему?

– Потому что вагон был заперт изнутри. Потому что у него в кармане куртки, которая висела вот на этом крючке, нашли билет. – Рябов перелистнул страницу в планшете и показал фотографию. Картонный билет, старый, с компостерной дыркой. «Москва – Вязьма. Поезд 668. Вагон 9». – Таких билетов не печатают лет двадцать. А дата на нём – шесть лет назад. И на обороте фамилия химическим карандашом. Ступин Д. Г.

Варя посмотрела на фотографию и почувствовала, как холодеет затылок.

– И ещё потому, – сказал Рябов тише, – что за три месяца на этом поезде, по моим подсчётам, пропало ещё двенадцать человек. Не пассажиров по билетам. Людей, которых видели на вокзале в Вязьме перед посадкой и больше не видели нигде. Бездомные, одинокие, пьющие. Никто их не ищет. Кроме меня.

Он закрыл планшет и посмотрел на Варю.

– Вы ведь что-то видели, Варвара. Я по лицу понял, когда вы на посадке стояли. Вы всё время в хвост смотрели.

Варя смотрела на свои руки. На столике между ними стоял мамин подстаканник, и паровоз на нём блестел под лампой. Она думала о том, что сказать. Правду? Правда звучала как бред. Сказать «я видела, как мёртвые садятся в вагон, которого нет, и как их провожают живые» – значит отправиться следом за Сомовым, только не в лес, а к врачу. И её снимут с рейса. И она никогда больше не увидит жёлтый огонёк в конце чужого коридора.

– Почему вы? – спросила она вместо ответа. – Почему вам не всё равно, если начальство закрыло дело?

Рябов ответил не сразу. Он вертел в пальцах шапку, разглядывал кокарду.

– Я из Вязьмы, – сказал он. – Вырос на Привокзальной. Дед у меня путейцем был, тридцать лет на этом перегоне шпалы менял. Он, когда я маленький был, говорил: на Сухой Ветле, Тимка, ночью не стой, там поезд без машиниста ходит. Я смеялся. Думал, дед байки травит, как все деды. А потом я пришёл в отдел, и мне в первую же неделю принесли заявление от сестры Сомова. И там, слово в слово, про поезд у Сухой Ветлы. – Он поднял глаза. – Я не верю в покойников, Варвара. Я верю, что пропадают люди. Если кто-то этим пользуется, сказками про мертвецов, чтобы людей уводить, я хочу знать кто.

– А если это не сказки?

– Тогда, – сказал Рябов, подумав, – тем более хочу знать.

Варя открыла рот, чтобы ответить, и в этот момент поезд начал тормозить.

Она посмотрела на часы. Ноль часов пять минут.

– Сухая Ветла, – сказала она.

– Что? – Рябов нахмурился. – Здесь нет остановки.

– Есть. – Варя вскочила. – Есть, техническая. Семь минут.

Она выскочила в коридор. Поезд стоял. В вагоне было тихо, только похрапывал мужчина с клетчатой сумкой. Варя побежала к двадцать первому месту.

Жоры там не было.

На полке лежало его одеяло, смятое, с отпечатком тела. На столике стоял недопитый стакан чаю. Бутылки не было.

Варя побежала дальше, к торцевому тамбуру. Дверь в тамбур была открыта. Дверь в переход тоже была открыта, и оттуда несло холодом и гарью. На площадке перехода, на границе между восьмым и девятым вагоном, стоял Жора. Он стоял спиной к ней, покачиваясь, в своей синей куртке без капюшона. Дверь девятого вагона перед ним была распахнута, и за ней, в темноте коридора, горел жёлтый огонёк фонаря.

– Георгий Павлович! – крикнула Варя.

Жора обернулся. Лицо у него было спокойное и удивлённое, как у человека, который проснулся не там, где засыпал.

– Варя, – сказал он. – Меня зовут. Слышишь?

– Никто вас не зовёт! Идите сюда! Ко мне! Чай остынет!

– Зовут, – повторил Жора. – Имя читают. Не моё, правда. Но меня зовут. – Он улыбнулся, виновато и ласково. – Ты сестре моей скажи, если увидишь. Варе. В Калуге. Скажи, что Жорка не со зла.

Он повернулся и шагнул в девятый вагон.

Варя кинулась за ним. Она уже была в тамбуре, уже тянула руку к переходу, когда её схватили сзади за куртку и рванули назад так, что она ударилась спиной о стенку. Хрусталёв. Он стоял, тяжело дыша, держал её обеими руками за воротник, и лицо у него было страшное.

– Не смей, – прохрипел он. – Ты что, не поняла? Если не он, значит, кто-то другой. Он берёт по счёту. Семеро ушло – семеро должно войти. Шестерых привели, седьмой у тебя на

двадцать первом месте спал. Не будет этого, заберёт из твоих. Из спящих. Ты кого отдашь, Лескова? Мальчишку с третьей полки? Кота в переноске?

– Это же человек!

– Это залог, – сказал Хрусталёв. И отпустил её.

Варя стояла, прижавшись к стене. За стеклом двери, на той стороне перехода, медленно закрылась дверь девятого вагона. Жёлтый огонёк в глубине его коридора качнулся и пропал. Потом раздался тот самый звук, который она слышала в прошлую ночь, только наоборот: скрежет, щелчок расцепки, глухой удар. И сразу после этого стало пусто. Не тихо, а именно пусто, будто из воздуха вынули что-то тяжёлое.

Поезд дёрнулся и пошёл.

Рябов стоял в коридоре, в трёх шагах от тамбура. Он смотрел на Варю и на Хрусталёва, и на лице у него было недоумение.

– Что случилось? – спросил он. – Вы кричали. С кем вы разговаривали?

– Здесь был человек, – сказала Варя. Голос у неё был чужой. – Пассажир. Кукушкин Георгий Павлович. Двадцать первое место. Он ушёл в девятый вагон. Вон туда.

Рябов посмотрел на дверь перехода. За стеклом была только ночь, рельсы, убегающие назад, и красный отблеск хвостового фонаря на снегу.

– Здесь нет девятого вагона, – сказал он.

– Был.

– Лескова, – тихо сказал Хрусталёв. – Хватит.

Рябов перевёл взгляд с одного на другую. Потом развернулся, пошёл к двадцать первому месту. Варя пошла за ним. Рябов посмотрел на смятое одеяло, на стакан с недопитым чаем. Потрогал стакан. Чай был ещё тёплый.

– Билет у вас? – спросил он.

Варя полезла в карман форменной куртки, где у неё лежали контроли. Нашла. Тонкий бумажный корешок. «Вагон 9. Место 12». Синий штамп со свечой.

Рябов взял его, посмотрел. Сфотографировал на телефон. Потом сказал, медленно и ровно, как говорят люди, которые изо всех сил стараются держать себя в руках:

– Варвара. В Москве мы с вами сядем и запишем всё по порядку. С самого начала. А сейчас я пойду и проверю каждое место в этом поезде. Каждый туалет, каждый ящик для угля.

– Вы его не найдёте, – сказала Варя.

– Знаю, – сказал Рябов. – Но я должен проверить. Это моя работа.

Он нашёл в поезде всех девятнадцать пассажиров восьмого вагона, всех проводников, кота в переноске и шестнадцать безбилетных бутылок пива у студентов в пятом. Георгия Павловича Кукушкина он не нашёл.

В пять тридцать поезд пришёл на Белорусский вокзал. Москва была мокрая, серая, вся в огнях. Рябов вышел из штабного вагона и подошёл к восьмому, когда Варя уже сдавала бельё.

– В системе продажи билетов нет никакого Кукушкина, – сказал он. – Ни на этот поезд, ни на какой другой за последний месяц. Билета с номером, как у вас на корешке, не существует. Вагона номер девять в составе не существует. По документам вы везли девятнадцать человек и довезли девятнадцать.

– Я везла двадцать, – сказала Варя.

Рябов помолчал. Потом достал из кармана визитку, обычную, белую, с гербом, и протянул ей.

– Мой телефон. Личный. Звоните в любое время. – Он помедлил. – Сомов, кстати, оставил дома тетрадь. Сестра мне её не отдала, сказала, что отдаст только тому, кто поверит. Я ей сказал, что верю. Она мне не поверила. Может быть, вам поверит.

Он написал на обороте визитки адрес. Москва, Щукинская улица, квартира. Имя: Светлана.

Варя взяла визитку. Рука у неё всё ещё дрожала, и она убрала её в карман, к картонному билету Орешкиной и бумажному корешку Жоры Кукушкина, которого не существовало и который велел передать сестре в Калугу, что он не со зла.

Глава 4. Тетрадь Сомова

Общежитие для бригад стояло за путями Белорусского вокзала, в длинном кирпичном здании, где когда-то была контора дистанции пути. Комнаты на четверых, двухъярусные кровати, общая кухня с вечно гудящим холодильником. Варя спала там до полудня тяжёлым сном без сновидений, проснулась с ощущением, что кто-то всю ночь сидел у неё на груди, и долго стояла под душем, пока вода не стала холодной.

Соседки по комнате, две проводницы с питерского направления, уже ушли. На столе лежала записка: «Варь, кто-то тебе звонил три раза, мы не брали. Хлеб в пакете». Варя посмотрела на телефон. Три пропущенных от бабушки. Она перезвонила.

– Живая, – сказала бабушка вместо приветствия.

– Живая. Я спала.

– Ну спи, спи. – Бабушка помолчала. – Мне Клава снилась. Стоит у калитки и говорит: передай Нининой девочке, что вагон не любит, когда его торопят. Я ей говорю: Клава, ты ж померла. А она: так я и не спорю.

– Бабушка…

– Ничего. Это я так. Старая стала, сны вижу. Ты ешь там.

Варя пообещала есть и положила трубку. Потом достала из кармана визитку Рябова, перевернула. Щукинская улица. Светлана.

Она поехала на метро, с пересадкой, долго шла от станции мимо одинаковых панельных домов с одинаковыми детскими площадками. День был серый, с мелкой изморосью, которая не падала, а висела в воздухе. Нужный дом оказался девятиэтажкой с облупленным подъездом, домофон не работал, дверь была подпёрта кирпичом. Варя поднялась на шестой этаж пешком, потому что лифт пах так, что в него не хотелось заходить, и позвонила в обитую коричневым дерматином дверь.

Открыли не сразу. Сначала за дверью кто-то долго смотрел в глазок, потом звякнула цепочка, и в щели показалось женское лицо, усталое, без косметики, с тёмными кругами под глазами.

– Вам кого?

– Светлану Сомову. Я Варвара Лескова. Я проводница. Восьмого вагона шестьсот шестьдесят восьмого.

Лицо в щели изменилось. Сначала на нём мелькнула надежда, потом злость, потом что-то вроде жалости.

– Генкин вагон, – сказала женщина. – Значит, взяли кого-то всё-таки. Дурочку молодую. – Она помолчала. – Чего надо?

– Поговорить о вашем брате.

– Говорила уже. С полицейскими говорила, с начальником поезда говорила, с психиатром из поликлиники говорила. Все мне объяснили, что Генка псих и сам с поезда сиганул. Я больше не хочу.

Дверь начала закрываться. Варя быстро сказала:

– Вчера ночью у Сухой Ветлы в девятый вагон ушёл человек. Георгий Кукушкин. Я его чаем поила. Он попросил передать сестре в Калугу, что он не со зла.

Дверь остановилась.

Потом цепочка звякнула ещё раз, и дверь открылась полностью. Светлана Сомова оказалась женщиной лет сорока, невысокой, крепкой, в домашнем трикотажном костюме и в медицинских тапочках. На руке у неё был след от пластыря, на шее шнурок с ключами.

– Заходи, – сказала она. – Только разуйся. Я полы помыла.

Квартира была маленькая, двухкомнатная, очень чистая. В прихожей висела мужская куртка, форменная, с железнодорожным шевроном. Светлана перехватила Варин взгляд.

– Генкина. Не убираю. Глупо, да?

– Нет, – сказала Варя.

На кухне Светлана поставила чайник, достала из шкафа две чашки, сахарницу, пачку печенья. Двигалась она быстро и чётко, как человек, привыкший работать руками и не любящий пауз. Варя узнала, что она медсестра в хирургии, работает сутки через трое, что Генка был младше на шесть лет, что она его практически вырастила, потому что мать умерла рано, а отец ушёл к другой ещё раньше.

– Он всегда был тихий, – сказала Светлана, наливая кипяток. – Не пил, не курил. Книжки читал. Про поезда в основном. Он и пошёл-то в проводники, потому что любил это всё: вагоны, станции, ночь за окном. Говорил, что в поезде люди честнее, чем дома. Едут и разговаривают с чужими, как с родными. А утром выходят и забывают.

– Когда он начал говорить про девятый вагон?

– Года полтора назад. Сначала шутил. Потом перестал шутить. Потом начал записывать. – Светлана села напротив, обхватила чашку ладонями. – Ты скажи сначала, что видела. Всё. Я по лицу пойму, врёшь или нет.

Варя рассказала. С самого начала: Хрусталёв, техническая стоянка, лязг сцепки, люди на перроне в Вязьме, старушка с пустой авоськой, кладбище, холодная рука, человек с лицом-топором, процессия на вечерней посадке, Жора, который сказал «меня зовут». Она говорила долго, и Светлана ни разу её не перебила. Только когда Варя дошла до Хрусталёва, державшего её за воротник, Светлана тихо выругалась.

Когда Варя закончила, на кухне долго было тихо. Капала вода из крана.

– Значит, не псих, – сказала наконец Светлана. Голос у неё сел. – Значит, правда.

Она встала, вышла. Вернулась через минуту с толстой общей тетрадью в клеёнчатой обложке, синей, потрёпанной, с загнутыми углами. Положила её на стол перед Варей, но руку с обложки не убрала.

– Я её никому не отдавала, – сказала она. – Рябову не отдала, хоть он и хороший парень, и в глаза мне смотрел. Он не верил. Он думал, что Генку кто-то убил, а тетрадь – это бред, но бред полезный, там фамилии. А Генка просил: отдай только тому, кто сам увидит. Ты увидела.

Она убрала руку.

Варя открыла тетрадь.

Первые страницы были исписаны мелким аккуратным почерком, синей шариковой ручкой, ровными столбиками. Даты. Против каждой даты цифры. Варя сначала не поняла, что это, потом поняла. Это был учёт. Как в журнале проводника. Дата рейса, время стоянки у Сухой Ветлы, количество сошедших в Вязьме из девятого. На следующей строке, через неделю: количество вошедших в девятый на обратном рейсе. И отдельной колонкой: «залогов».

Цифры были разные. Три, пять, восемь, четыре, одиннадцать. Залогов всегда столько же, сколько ушедших. Ни разу не меньше. Ни разу не больше.

На полях, против некоторых дат, стояли пометки. Варя листала и читала.

«Видят бригада и те, кто держал ихний билет. Остальные смотрят мимо. Проверил на Тамаре из шестого: дал ей подержать билет, после этого увидела. Плакала. Больше со мной не разговаривает».

«Стоянка у Сухой Ветлы туда – четыре тринадцать. Обратно – ноль ноль пять. Всегда семь минут. Машинист не знает, почему тормозит. Говорит, на светофоре красный. Красного там по графику нет».

«Девятый берёт по счёту. Хрусталёв сказал. Если залогов не хватает, берёт из состава. Из спящих. Хрусталёв говорит, так было один раз, лет пять назад, пропал пассажир из третьего. Записали как сошедшего в Гагарине».

«Их привозит Свеча. Фонд. Бездомных собирают на вокзале, дают билет, водку, деньги. Ведут люди Шабанова».

«Шабанов – Ступин. Ступин – Свеча. Ступин – Тихая пристань. Ступин был тогда на отделении. Тогда – это когда сгорел девятый».

«Проводница с фонарём. Молодая. Не трогает никого. Ходит по вагону. Один раз посмотрела на меня через стекло и покачала головой: мол, не ходи. Я думаю, она за нас».

«На рейсе в Вязьму можно войти и выйти, если успеть до прибытия. Видел, как один из людей Шабанова заходил, искал кого-то, вышел в Вязьме с остальными. На обратном зашёл – всё. Не выходят».

Дальше почерк менялся. Становился торопливым, буквы налезали одна на другую.

«Каждые две недели одно и то же имя. Д. С. Приходит, уходит, через неделю опять. Залог за него всегда отдельный, его ведёт сам Шабанов».

«Д. С. – Денис Ступин. Сын. Разбился шесть лет назад на трассе. Глеб Аркадьевич его возит туда-обратно шесть лет. Сколько залогов? Посчитал. Сто сорок семь только за Дениса. Если я ничего не путаю».

Варя подняла голову. Светлана смотрела на неё.

– Читай, – сказала она. – Там дальше хуже.

«Сегодня отпустил залог. Девчонка, лет двадцати, наркоманка, её вели под руки, а она на перроне вырвалась и ко мне в вагон. Я её спрятал в бельевом. Вывел в Москве. Шабанов видел. Ничего не сказал. Хрусталёв сказал, что я дурак. Что за это заберут одного из моих. Посмотрим».

«Никого не забрали. Посчитал – одного не хватало. А в вагоне все на месте. Значит, взял кого-то другого. Кого? Не знаю. Мне страшно, Светка».

«Пишу своё имя на руке. Сомов Геннадий. Говорят, кто туда попал и имя помнит – тот держится. Не знаю, кто говорит. Может, сам себе говорю».

«Д. С. говорил со мной. Сам пришёл в мой вагон на обратном, перед отправлением, пока Шабанов не видел. Молодой, бледный, вежливый. Дал мне свой билет. Сказал: отдай кому-нибудь, кто сможет это прекратить. Я спросил – как прекратить? Он сказал: ведомость. Без ведомости ничего не работает. Ведомость у отца. И ушёл в девятый».

Последняя запись была сделана карандашом, очень криво, будто в темноте или на ходу.

«Двенадцатое августа. Шабанов сегодня смотрел на меня всю посадку. Если пропаду – Светка, не ищи меня. Ищи ведомость. Она за всё платит. Ключ – в обложке».

Варя закрыла тетрадь. Руки у неё были ледяные. Светлана молча налила ей ещё чаю.

– Ключ, – сказала Варя.

Светлана кивнула на обложку. Варя провела пальцами по внутренней стороне задней обложки и нащупала бугорок под клеёнкой. Клеёнка была аккуратно надрезана и подклеена. Варя поддела край ногтем. Внутри, в выемке, вырезанной в картоне, лежал ключ: старый, латунный, потемневший, с квадратным стержнем и бородкой странной формы. К ушку была привязана картонная бирка, на которой было выведено чернилами: «9».

– Я не знаю, откуда он его взял, – сказала Светлана. – Я нашла тетрадь в его комнате после того, как он пропал. В ящике стола, под старыми журналами. Ключ сразу нащупала. Хотела выкинуть. Не смогла.

Варя держала ключ на ладони. Он был тяжёлый и тёплый, будто его только что кто-то держал в руке.

– Я хочу его найти, – сказала Светлана. – Генку. Ты понимаешь? Я не дура, я понимаю, что его, может, и нет уже. Но если он там, если он имя своё помнит… Он упрямый. Он помнит. Я знаю.

– Я поищу, – сказала Варя.

– Не обещай. – Светлана покачала головой. – Генка мне тоже обещал. Что всё будет хорошо, что он уволится, переведётся на питерское направление. Не обещай. Просто поищи.

Перед уходом Светлана показала ей комнату брата. Узкая, как пенал, с окном во двор, с аккуратно заправленной кроватью и книжными полками до потолка. На полках стояли справочники по подвижному составу, старые расписания в мягких обложках, модели вагонов, склеенные из картона с удивительной тщательностью. На стене над столом висела карта Московской железной дороги, западное направление, вся исчерканная карандашом. Варя подошла ближе. Сухая Ветла была обведена три раза, и рядом стояла цифра: двести тринадцать. От неё до Вязьмы шла жирная красная линия, а над линией было написано: «Только здесь».

Рядом с картой была приколота газетная вырезка. Та самая, Варя узнала её с первого взгляда, хотя у неё дома, у бабушки в комоде, лежал другой экземпляр, пожелтевший сильнее. «Трагедия на перегоне». Под заметкой список погибших, двадцать три фамилии в столбик. Лескова Н. А., проводник вагона, стояла последней. Гена подчеркнул её фамилию. А внизу, под списком, тем же карандашом приписал: «24?» И ещё ниже: «В акте опознания неизвестный мужчина, захоронен отдельно. Кто?»

– Это что? – спросила Варя.

– Не знаю, – сказала Светлана. – Он про это не говорил. Он вообще в последние месяцы мало говорил. Только записывал. – Она посмотрела на подчёркнутую фамилию, потом на Варю. – Лескова. Это твоя?

– Мама.

Светлана долго молчала. Потом сказала:

– Генка говорил, что проводница с фонарём – за нас. Я тогда не поняла, что значит «за нас». А теперь думаю, может, он и понимал. – Она сняла вырезку со стены, аккуратно, чтобы не порвать, и протянула Варе. – Бери. Тебе нужнее.

Варя взяла. Сложила вчетверо и спрятала в тетрадь.

Варя ушла от Светланы в четвёртом часу. Тетрадь лежала у неё в сумке, ключ в кармане, рядом с картонным билетом Орешкиной. Изморось превратилась в мелкий дождь. Варя стояла у подъезда, смотрела на мокрый двор и думала, что за всю её жизнь у неё ни разу не было такого чувства: будто она вошла в комнату, где все давно знают какую-то страшную вещь, и молчат, и смотрят на неё с жалостью, и ждут, когда она тоже узнает.

Она достала телефон и набрала номер с визитки.

Рябов ответил после первого гудка.

– Лейтенант Рябов.

– Это Лескова. Вы в Москве?

– В Москве до вечера. Потом поездом обратно. – Пауза. – Вы были у Светланы?

– Была. Она отдала мне тетрадь. Нам надо встретиться.

Они встретились через час в маленьком кафе у метро, с пластиковыми столами и запахом подгоревшего масла. Рябов был в гражданском: тёмная куртка, свитер с высоким горлом, джинсы. Без формы он выглядел моложе и неувереннее. Он заказал два кофе и пирожки, которые никто из них не стал есть, и долго, очень внимательно читал тетрадь. Варя смотрела, как он читает. Он читал как следователь: возвращался к уже прочитанным страницам, сравнивал даты, что-то записывал в блокнот. Иногда у него дёргался уголок рта.

– Сто сорок семь, – сказал он наконец. – Только за одного. Если это правда, это…

Он не договорил.

– Вы не верите, – сказала Варя.

– Я верю, что это написал человек, который видел что-то, что его напугало. – Рябов закрыл тетрадь, положил ладонь на обложку. – И я верю в цифры. Если по этим датам проверить, кто пропадал в Вязьме в эти недели… Бездомные, пьющие, одинокие… Я проверял

часть. У меня двенадцать человек за три месяца. Если считать по тетради, за те же три месяца должно быть больше шестидесяти.

– Вы их не нашли, потому что их никто не ищет.

– Да. – Он помолчал. – Ступин. Глеб Аркадьевич Ступин. Вы понимаете, кто это?

– Бабушка сказала. Похоронное бюро. Фонд.

– Не только. Он учредитель половины благотворительности в районе. У него в друзьях глава администрации и мой начальник. Он подарил нашему отделу две машины. Если я приду к начальнику с этой тетрадью и скажу, что Ступин возит мёртвого сына на поезде и платит за это бомжами, меня уволят в тот же день. И это в лучшем случае.

– А в худшем?

Рябов не ответил. Варя достала из тетради сложенную вырезку, развернула, показала ему подчёркнутую фамилию и приписку внизу.

– Двадцать четвёртый, – сказала она. – Неизвестный мужчина. Гена его искал.

– Это я могу проверить, – медленно сказал Рябов. – Акты опознания хранятся. Если, конечно, их никто не потерял. – Он сфотографировал вырезку, потом приписку отдельно, крупно. – Пятнадцать лет назад. Ноябрь. Хорошо.

Он сказал «хорошо» так, будто записал себе в план работы ещё одну строчку, и Варя вдруг почувствовала к нему что-то похожее на доверие. Потом он посмотрел на ключ, который Варя положила на стол.

– Это от чего?

– Думаю, от двери в девятый. Изнутри поезда. Из моего тамбура.

– Вы же не собираетесь…

– Собираюсь посмотреть, – сказала Варя. – Только посмотреть. Через стекло. На рейсе в Вязьму. Гена пишет, что на рейсе в Вязьму можно войти и выйти.

– Гена пропал.

– Он пропал на обратном. Он сам пишет: на обратном не выходят.

Рябов откинулся на спинку пластикового стула и потёр лицо ладонями. Вид у него был такой, будто у него болят зубы.

– Варвара, – сказал он. – Я полицейский. Я не могу вам сказать «идите и смотрите на привидения». Я могу вам сказать, что если там кто-то есть, кто-то живой, кто уводит людей, то вы для него лишний свидетель. Шабанов видел вас на кладбище.

– Он видел меня и на перроне.

– Тем более.

Варя полезла в карман. Достала картонный билет Орешкиной. Положила его на стол рядом с ключом.

– Возьмите, – сказала она.

– Что это?

– Билет. Её билет. Той старушки. Гена пишет, что видят те, кто держал в руках ихний билет. Возьмите. Подержите. А в среду ночью, когда поезд встанет у Сухой Ветлы, выйдите в тамбур и посмотрите в хвост.

Рябов смотрел на билет, не прикасаясь к нему. Потом медленно протянул руку и взял его. Повертел в пальцах. Прочёл дату, прочёл фамилию на обороте. Ничего не произошло: не замигал свет, не завыл ветер, не случилось ничего из того, что бывает в кино. Только Рябов вдруг поёжился, будто ему за шиворот попала холодная капля.

– Странно, – сказал он. – Он холодный.

– Да.

– Не как бумага. Как железо.

– Да.

Он долго держал билет в руке. Потом убрал его во внутренний карман куртки, застегнул молнию.

– Я в среду в отделе, – сказал он. – Не в поезде. Но я встречу ваш поезд в Вязьме. В пять двенадцать. На перроне. В хвосте.

– Хорошо.

– А вы, – сказал Рябов, глядя ей прямо в глаза, – пообещайте мне. Не ходить туда. Только смотреть.

Варя подумала о Светлане, которая сказала «не обещай». О бабушке, которая сказала «не лезь». О маме, которая была упрямая, как она. О проводнице с фонарём, молодой, с ямочкой, которая качала головой через стекло.

– Обещаю, – сказала она. – Только смотреть.

Рябов кивнул. Он, кажется, ей поверил. Или сделал вид. Варя не знала его достаточно хорошо, чтобы понять разницу. Она знала только, что у неё в кармане лежит латунный ключ с квадратным стержнем, тёплый, как чужая рука, и что до среды осталось пять дней.

Глава 5. Тамбур

Неделя прошла так, как проходят недели перед экзаменом: медленно в каждом отдельном часе и мгновенно целиком. Варя съездила ещё раз к Светлане, вернула ей вырезку, которую та всё-таки попросила назад, и выпила с ней чаю. Дважды звонила бабушке. Один раз звонил Рябов, коротко, по делу: акт опознания пятнадцатилетней давности он запросил, ответа пока нет, а в архиве сказали, что такие бумаги «могли пострадать при переезде». Варя спросила, при каком переезде. Рябов сказал, что архив никуда не переезжал.

Все пять дней Варя читала тетрадь Гены. Она перечитала её столько раз, что запомнила почти наизусть. Цифры в столбиках. Пометки на полях. Буква «Д» с точкой и буква «С» с точкой, которые повторялись через каждые две недели, как удары метронома. Сто сорок семь. Она не могла представить себе сто сорок семь человек. Пыталась – и не получалось. Получался только Жора в синей куртке, который улыбался виновато и ласково и говорил, что его зовут.

Ключ она носила на шнурке на шее, под формой. Ей казалось, что так надёжнее. Он лежал на груди тяжёлый, и никогда не остывал до конца.

В среду в двадцать три сорок поезд номер шестьсот шестьдесят восемь отошёл от Белорусского вокзала. В восьмом вагоне было двадцать шесть пассажиров. Варя проверила билеты, выдала бельё, раздала чай. Пожилой мужчина в очках попросил газету, и Варя дала ему свою, недельной давности, которую возила с собой для растопки. Мужчина сказал, что недельная даже лучше, всё уже ясно, чем кончилось. Студентка с рыжими косами попросила разрешения зарядить телефон в служебном купе, и Варя разрешила. Двое мальчишек-близнецов лет восьми весь вечер бегали по коридору, пока их мать, усталая женщина с огромной сумкой, не уложила их силой на одну полку валетом.

В час ночи заглянул Хрусталёв. Он стоял в дверях служебного купе и смотрел на неё долго, слишком долго.

– Ты какая-то не такая, Лескова, – сказал он.

– Какая?

– Не знаю. Собранная. – Он помолчал. – Ты ко мне в Москве не зашла. Я думал, зайдёшь, спросишь.

– А вы бы ответили?

Хрусталёв усмехнулся. Невесело.

– Нет, – сказал он. – Не ответил бы.

– Тогда зачем заходить?

Он кивнул, будто она сказала что-то разумное. Посмотрел на подстаканник.

– Нинин, – сказал он вдруг.

– Да.

– Помню его. Она из него чай пила, а мне никогда не давала. Говорила: Аркаша, у тебя свой есть. А у меня свой был с трещиной. – Он постучал пальцем по косяку. – Стоянка в четыре тринадцать. Ты помнишь.

– Помню.

– И помнишь, что я тебе сказал.

– Помню, Аркадий Семёнович.

Он ещё постоял. Варе показалось, что он хочет сказать что-то совсем другое, что-то важное, и что это важное у него в горле, как кость. Но он только вздохнул, сказал «ну, смотри» и ушёл.

После его ухода Варя долго сидела без движения. Потом достала из сумки тетрадь Гены, открыла на середине и не стала читать. Просто смотрела на ровные столбики цифр, пока они не начали расплываться.

Ей вспомнилось вдруг то, чего она не вспоминала много лет. Ей шесть, может быть, семь. Лето, вечер, вяземский перрон, тёплый асфальт, запах креозота и липы из привокзального сквера. Мама в форме, в берете набок, стоит у открытой двери вагона, и Варя держится за её юбку, потому что бабушка привела её проводить маму в рейс. Мама наклоняется к ней, пахнет духами «Ландыш» и немного углём.

– Смотри, Варюша, – говорит мама и достаёт из-за пояса фонарь, старый, с жёлтым стеклом, хотя ещё светло и фонарь не нужен. – Это сигнал. Если я фонарь подняла вот так, выше плеча, значит, всё хорошо. Двери закрыты, пассажиры на местах, можно ехать. Машинист видит и трогается. Поняла?

– А если опустила?

– Если опустила вниз и качаю, значит, стой, нельзя, беда. – Мама смеётся и щёлкает её по носу. – Но это редко. Почти никогда. Запомнила?

– Выше плеча – можно ехать, – повторяет Варя.

– Умница. Значит, ты тоже проводница.

Потом мама поднимается в вагон, и поезд уходит, и Варя машет ему вслед, пока не перестаёт видеть красный фонарь на хвосте. Бабушка берёт её за руку, и они идут домой через сквер, и Варя всю дорогу поднимает невидимый фонарь выше плеча и говорит машинам на перекрёстке: можно ехать.

Она не помнила, был ли это последний раз, когда она провожала маму. Наверное, нет. Но почему-то сейчас, в служебном купе, в три часа ночи, ей казалось, что именно этот вечер и был последним, а все остальные она придумала потом, чтобы не было так пусто.

Она убрала тетрадь в сумку и встала.

В три пятьдесят Варя последний раз обошла вагон. Все спали. Близнецы спали в обнимку, и у одного из них из-под одеяла торчала пятка в полосатом носке. Студентка с косами спала в наушниках. Пожилой мужчина в очках спал с газетой на груди, и газета поднималась и опускалась в такт его дыханию.

В четыре одиннадцать поезд начал тормозить.

Варя уже стояла в торцевом тамбуре. Она не включала свет. Фонарик держала в руке выключенным. Стояла и смотрела через стекло двери на ночь за хвостом, на белые рельсы, на тёмную стену леса. Она очень хорошо помнила, как бьётся сердце, когда идёшь по ночной улице одна и слышишь за спиной шаги. Сейчас оно билось иначе. Медленно, гулко, как будто стучалось изнутри в дверь, которую она сама держала закрытой.

Поезд встал.

Четыре тринадцать.

Первая минута. Тишина. Снег за стеклом лежал ровный, нетронутый. Где-то вдалеке, впереди, светился красный светофор, и его свет отражался в рельсах двумя тонкими кровавыми нитками.

Вторая минута. Варе показалось, что снег на рельсах потемнел. Нет, не показалось. На белом медленно проступали полосы, как проступает на мокрой бумаге текст, написанный молоком. Две тёмные полосы. Колея. Следы колёс, которых не было.

Третья минута. Из темноты, из-за поворота, бесшумно выплыл вагон.

Он не ехал. Он именно выплывал, медленно, как лодка подходит к причалу на последних метрах, когда гребцы уже подняли вёсла. Зелёный, с покатой крышей, с овальными табличками, с белыми буквами на борту. Окна тёмные. Только в самом дальнем, в торце, качался жёлтый огонёк.

Четвёртая минута. Удар буферов. Щелчок сцепки. Скрежет. Тамбур под Вариными ногами дрогнул, и она схватилась за поручень.

Девятый вагон стоял за стеклом, в метре от неё. Между ними была только переходная площадка, гармошка резинового суфле, железные листы порогов. И две двери. Дверь восьмого вагона, перед которой стояла Варя. И дверь девятого, напротив.

Варя вытащила ключ из-под формы. Шнурок зацепился за пуговицу, и она едва не оборвала его. Руки не слушались. Она нашла скважину, старую, круглую, под самой ручкой двери, в которую никогда не вставляла ни одного ключа, потому что все двери в составе открывались стандартным четырёхгранником. Квадратный стержень вошёл туго, со скрипом. Она повернула.

Замок щёлкнул.

Варя открыла дверь и шагнула на переходную площадку.

Здесь было очень холодно. Холоднее, чем на улице. Холод шёл не снаружи, а от девятого вагона, как от открытой морозилки. И пахло. Гарью. Старой, сырой, въевшейся в железо и дерево гарью. И ещё чем-то сладковатым, тяжёлым, чему Варя не хотела давать имени.

Дверь девятого вагона была застеклена. Стекло мутное, в разводах, будто его давно никто не мыл. Варя наклонилась и посмотрела внутрь.

Коридор. Длинный, узкий, освещённый тускло, непонятно чем. Не лампами, а как будто самим воздухом. Ковровая дорожка на полу, красная, с зелёными полосками по краям, такие лежали в вагонах её детства. Занавески на окнах, белые, с вышитыми буквами. Двери купе открыты. Плацкартный, поняла Варя. Нет, не плацкартный. Купейный, старого образца, с деревянными панелями.

В купе сидели люди.

Ближние к ней купе были заполнены людьми, которые выглядели как обычные ночные пассажиры. Женщина в вязаном жакете сидела у окна, сложив руки на коленях. Мужчина средних лет в костюме смотрел перед собой. Двое пожилых людей сидели рядом и держались за руки. Молодой парень в спортивной куртке спал, привалившись к стенке. Все одетые, все неподвижные. Они ждали. Варя поняла это сразу, по их позам: так сидят в поезде за полчаса до прибытия, когда вещи собраны, бельё сдано и делать уже нечего.

А дальше, в глубине вагона, сидели другие.

Их было трудно разглядеть. Варя всматривалась и не могла понять, что мешает. Будто между ней и ними висел дым. Тонкий, серый, неподвижный. Силуэты в купе были как будто нарисованы карандашом и чуть растушёваны пальцем. Она различала очертания голов, плеч, рук. Ребёнок на коленях у взрослого. Кто-то, кто лежал на верхней полке, свесив руку. Кто-то, кто стоял в коридоре у окна, прижавшись лбом к стеклу. Они не двигались совсем. Даже не так, как ждущие. Так не двигаются фотографии.

Двадцать три, подумала Варя. Их было двадцать три.

А в самом конце коридора, у дальнего тамбура, стояла женщина с фонарём.

Варя видела её со спины. Тёмная форма, юбка ниже колена, плечи. Волосы собраны под форменный берет. Фонарь в опущенной руке, старый, железнодорожный, с жёлтым стеклом. Женщина стояла неподвижно и, кажется, смотрела в окно. Потом медленно пошла по коридору. Не к Варе. От неё. Дошла до последнего купе, остановилась, наклонилась к кому-то внутри. Варя не видела к кому.

Варя забыла, что надо дышать. Она стояла на холодной переходной площадке, прижавшись лбом к мутному стеклу, и смотрела на женщину с фонарём, и внутри у неё всё кричало одно-единственное слово, которое она не говорила вслух пятнадцать лет.

Женщина выпрямилась. Повернула голову.

И тут дверь девятого вагона распахнулась прямо Варе в лицо.

Варя отшатнулась, ударилась спиной о дверь восьмого и чуть не упала. Из девятого вагона на переходную площадку выскочила девочка. Она налетела на Варю, вцепилась ей в куртку обеими руками и забормотала быстро, захлёбываясь:

– Пустите, пустите меня, пожалуйста, я не хочу, они меня ждут, не отдавайте меня, пожалуйста, пожалуйста…

Девочка была лет шестнадцати, маленькая, худая, в джинсах и в летней футболке с каким-то выцветшим рисунком, без куртки, босиком. Волосы у неё были длинные, тёмные и мокрые. С них капало. Капли падали Варе на руки и были ледяными.

– Тихо, – сказала Варя. – Тихо. Я тебя не отдам.

Она не знала, почему это сказала. Слова вырвались сами. Девочка подняла на неё лицо, бледное, с синеватыми губами, с огромными тёмными глазами, и Варя увидела, что она плачет.

Из глубины девятого вагона послышались шаги. Тяжёлые, быстрые. Мужские.

– Белкина! – крикнул кто-то. – Ты куда, коза? А ну стой!

По коридору девятого вагона, мимо неподвижных пассажиров, шёл мужчина. Живой. Варя поняла это по тому, как он двигался: торопливо, неловко, задевая плечами стенки. Он был в тёмной куртке, такой же, как у тех, кто вёл бездомных на посадку. Молодой, крупный, бритоголовый, с телефоном в руке. Экран телефона светился, и этот свет выглядел в девятом вагоне совершенно чужим, как фонарик водолаза на дне.

Варя втолкнула девочку в тамбур восьмого вагона и шагнула следом.

Мужчина был уже у двери девятого. Он увидел Варю. Лицо у него стало сначала удивлённым, потом злым.

– Эй, – сказал он. – Ты кто такая? Девчонку верни.

Варя захлопнула дверь восьмого вагона и повернула ключ. Замок щёлкнул. Мужчина подбежал к двери, ударил по стеклу кулаком. Стекло задребезжало, но выдержало. Он дёрнул ручку. Дверь не поддалась.

– Открой! – крикнул он. Голос через стекло доносился глухо, как из-под воды. – Открой, дура! Ты не понимаешь, что делаешь! Она не твоя!

Варя стояла, прижимая к себе мокрую дрожащую девочку, и смотрела на него через стекло. Мужчина колотил в дверь, ругался, тыкал пальцем в телефон, пытаясь кому-то позвонить, и ругался ещё сильнее, потому что связи, очевидно, не было.

А за его спиной, в глубине коридора девятого вагона, стояла женщина с фонарём.

Она повернулась к Варе лицом. Расстояние было большое, весь вагон, и света было мало, и стекло было мутное. Варя видела только силуэт, тёмную форму, берет и жёлтый круг фонаря. Лица она не видела.

Женщина подняла фонарь. Медленно. Выше плеча. Так проводники поднимают фонарь на перроне, когда подают сигнал машинисту: всё в порядке, двери закрыты, можно ехать.

Потом опустила.

Поезд дёрнулся.

Мужчина в девятом вагоне перестал колотить в дверь и обернулся. Видимо, тоже увидел фонарь. Он отступил от двери, выругался ещё раз, коротко и зло, и ушёл вглубь вагона. Дверь девятого медленно закрылась сама. Сквозь два стекла и переходную площадку Варя ещё видела, как жёлтый огонёк качается в конце коридора, потом поезд набрал ход, и в стёклах замелькали отражения её собственного тамбура.

Варя отвела девочку от двери. Та всё ещё держалась за её куртку, не отпускала.

– Пойдём, – сказала Варя. – Пойдём ко мне. Там тепло.

Она повела её по тёмному коридору мимо спящих пассажиров. Девочка шла босиком, неслышно. Варя оглянулась и увидела, что на ковровой дорожке за ними остаются мокрые следы. Маленькие, узкие, как от только что вылезшего из воды ребёнка.

В служебном купе Варя усадила её на свою полку, закутала в два одеяла, включила маленькую лампу. Налила из титана чаю в мамин подстаканник, бросила три куска сахара, размешала.

– Пей.

Девочка взяла подстаканник обеими руками. Пальцы у неё были тонкие, с обкусанными ногтями, с облупленным розовым лаком. Она отпила, поморщилась.

– Не сладко, – сказала она удивлённо.

– Я три куска положила.

– Не сладко, – повторила девочка и отпила ещё. – И не горячо. Вообще никак.

Варя села напротив. Протянула руку и осторожно коснулась её запястья. Кожа была холодная. Ровно холодная, как у старушки на кладбище. Пульса не было.

– Как тебя зовут? – спросила Варя.

– Ася. – Девочка облизнула синеватые губы. – Белкина Ася. Анастасия. Мне шестнадцать. – Она нахмурилась. – Мне было шестнадцать. Я не знаю, как правильно.

– Откуда ты, Ася?

– Из Вязьмы. С Заречной улицы. – Ася посмотрела в чёрное окно, где в стекле отражались они обе, и Варя заметила, что отражение Аси двигается на полсекунды позже, чем она сама. – Я на речку пошла. С девчонками. Вечером, в июле, жарко было очень. Купаться. Я на тот берег поплыла, на спор. А там течение. И я…

Она замолчала. Чай в подстаканнике дрожал.

– Я не помню, – сказала Ася. – Я помню, что плыла. А потом сразу темно, и поезд. И едешь, едешь. И не холодно, и не страшно, и не больно, просто ничего. А потом кто-то читает моё имя. И я встаю. И вдруг всё становится как настоящее, вагон, свет, люди. И этот, лысый, ходит со списком, считает нас по головам, как овец. А потом он по телефону разговаривал, когда связь появилась, и я услышала.

– Что услышала?

– Он сказал: «Белкина на месте. Залог на следующий четверг, из ночлежки. Шабанов в курсе». А потом засмеялся и сказал: «Неделя, и обратно. Как в санатории». – Ася посмотрела на Варю огромными мокрыми глазами. – Что такое залог? Почему обратно? Я не хочу обратно. Там ничего нет. Совсем ничего. Вы понимаете? Там даже меня нет.

Варя не знала, что ответить. Она взяла её ледяную руку в свои и держала.

– А кто читал твоё имя, ты знаешь?

– Нет. – Ася помотала головой, и с мокрых волос на одеяло полетели брызги. – Голос мужской. Старый. Я его не знаю. – Она вдруг вскинула глаза. – А мама? Мама знает? Это мама меня позвала?

– Не знаю, Ася.

– А какой сейчас год?

Варя сказала.

Ася долго молчала. Потом медленно поставила подстаканник на столик, аккуратно, чтобы не расплескать, хотя чай в нём уже почти не дрожал.

– Семь лет, – сказала она. – Меня не было семь лет.

– Да.

– А мама же… Маме же сорок три теперь. – Она засмеялась, тонко, жалко, и сразу перестала. – Она меня не узнает. Я ведь не выросла.

– Узнает, – сказала Варя.

Она не была уверена. Она вообще больше ни в чём не была уверена. Она сидела в служебном купе восьмого вагона, напротив мёртвой девочки с мокрыми волосами, держала её холодную руку и думала о том, что через пятьдесят минут поезд придёт в Вязьму, что на перроне их будет ждать чёрный микроавтобус и человек с лицом как топор, что бритоголовый из девятого вагона знает её в лицо, и что она пообещала Рябову только смотреть.

А ещё она думала о фонаре, поднятом выше плеча. Всё в порядке. Двери закрыты. Можно ехать.

Только это был не мамин сигнал машинисту. Это был сигнал ей. И Варя пока не понимала, куда именно ей разрешили ехать.

Глава 6. Бельевые мешки

До Вязьмы оставалось сорок восемь минут, и за эти сорок восемь минут Варя успела передумать больше, чем за всю предыдущую неделю.

Сначала она хотела спрятать Асю в туалете. Глупо: туалеты перед прибытием закрывают на санитарную зону, а потом открывают, и первым делом туда заглядывает любой, кто ищет. Потом подумала про угольный ящик у печки. Ещё глупее: ящик маленький, туда не поместится и собака. Потом про багажное отделение над коридором, третью полку в служебном. Там лежали запасные одеяла, и если Асю завалить ими, то снизу видно не будет. Но если кто-то встанет на нижнюю полку и сунет руку, то найдёт сразу.

– Они придут, – сказала Ася. Она сидела, закутанная в одеяла, и смотрела в окно, где за стеклом медленно светлело. – Тот лысый. Он видел, куда я побежала.

– Видел.

– И что вы сделаете?

Варя посмотрела на неё. Потом на свою полку. Потом на угол служебного купе, где стояли два больших брезентовых мешка, в которые проводники складывают использованное бельё перед сдачей. Мешки были серые, грязные, с номером вагона, выведенным краской через трафарет. Один уже наполовину полный: Варя начала собирать наволочки с тех, кто сошёл в Гагарине.

– Ты маленькая, – сказала Варя. – Это хорошо.

Ася проследила за её взглядом и всё поняла.

– В грязное бельё? – спросила она с таким возмущением, что Варя чуть не рассмеялась.

– В грязное бельё. Ты же не дышишь?

Ася задумалась.

– Не знаю, – сказала она. – Я не проверяла. Кажется, дышу. По привычке.

– Попробуй не дышать.

Ася закрыла рот, зажала нос пальцами и замерла. Варя смотрела на часы. Минута. Две. Три. Ася сидела спокойно, только глаза у неё становились всё больше и испуганнее. На четвёртой минуте она разжала пальцы.

– Мне не надо, – прошептала она. – Мне совсем не надо дышать. Я правда умерла.

Она сказала это так, будто только сейчас поверила. До этого, поняла Варя, она всё ещё надеялась, что это сон, или ошибка, или чья-то злая шутка. А теперь в её мокрых глазах было что-то такое, на что Варя не могла смотреть.

– Ася, – сказала Варя. – Послушай меня. Мы потом с этим разберёмся. Со всем разберёмся. А сейчас надо, чтобы тебя не нашли. Хорошо?

– Хорошо, – сказала Ася.

Варя пошла по вагону. Пассажиры ещё спали, будить их было рано. Она тихо снимала наволочки с пустых полок, сворачивала простыни, собирала полотенца. Через десять минут второй мешок был заполнен на треть. Варя вернулась в служебное, высыпала половину белья из первого мешка на свою полку.

– Залезай.

Ася залезла. Она свернулась на дне мешка, подтянув колени к подбородку, как маленький ребёнок в утробе. Варя засыпала её сверху наволочками и полотенцами, оставив у лица складку, чтобы было видно, если что. Потом подумала, что видно не надо, и засыпала совсем. Мешок стоял в углу, пузатый, бесформенный, ничем не отличимый от второго.

– Ты как там?

– Пахнет, – глухо донеслось из мешка. – Ногами.

– Терпи.

– Я терплю. Я всё-таки умерла, а не в санатории.

Варя села на полку и закрыла лицо руками. Её трясло. Только теперь, когда руки освободились, её начало трясти по-настоящему, крупной дрожью, от плеч до коленей. Она сидела и тряслась, а за окном светлело, и поезд стучал на стыках всё медленнее.

Потом она встала и пошла будить пассажиров.

Близнецы проснулись одновременно и тут же начали драться за то, кто первый пойдёт умываться. Мать растащила их, не открывая глаз. Пожилой мужчина в очках сложил газету и аккуратно убрал во внутренний карман пиджака. Рыжая студентка вспомнила про телефон, побежала в служебное. Варя её опередила, вынесла телефон в коридор.

– Ой, спасибо, – сказала студентка. – А что у вас там так холодно? Как будто окно открыто.

– Печку не топила, – сказала Варя. – Экономлю уголь.

Студентка понимающе кивнула. Варя посмотрела ей вслед и вдруг увидела на ковровой дорожке, от торцевого тамбура до служебного купе, цепочку маленьких тёмных пятен. Мокрые следы босых ног. Они уже подсыхали по краям, но всё ещё были отчётливо видны.

Варя метнулась к титану, налила полный стакан кипятку, пошла по коридору, будто бы неся чай пассажиру, и на полпути споткнулась. Кипяток выплеснулся на дорожку. Варя ахнула громко, на весь вагон, схватила тряпку, принялась вытирать, размазывая мокрое пятно всё дальше и дальше, до самого тамбура.

– Осторожнее, девушка, – сказал пожилой мужчина в очках. – Обожглись?

– Нет, всё хорошо. Простите.

В пять двенадцать поезд пришёл в Вязьму.

Варя открыла дверь, откинула площадку, протёрла поручни. Встала с флажком. На перроне было то же, что неделю назад: снег, жёлтый вокзал, фонари, женщина в оранжевом жилете с метлой. И чёрный микроавтобус у дальнего конца перрона.

И Рябов.

Он стоял у фонарного столба напротив восьмого вагона, в форме, в шапке, руки в карманах. Лицо у него было белое, как снег под ногами. Он не смотрел на Варю. Он смотрел мимо неё, в хвост поезда, туда, где из открытых дверей девятого вагона один за другим спускались на перрон люди. Варя видела, как у него ходят желваки.

Пассажиры восьмого вагона выходили, прощались. Близнецы прыгнули с площадки на перрон одновременно, мать закричала на них. Студентка помахала рукой. Мимо Вари в это время проходили другие. Мёртвые. Восемь человек: Варя посчитала. Женщина в вязаном жакете. Мужчина в костюме. Пожилая пара. Парень в спортивной куртке. Ещё трое. Они шли к микроавтобусу, а у микроавтобуса их ждали живые: кто-то плакал, кто-то бросался на шею, кто-то стоял неподвижно, не решаясь подойти.

Потом из девятого вагона выпрыгнул бритоголовый. Он не пошёл к микроавтобусу, а побежал. Добежал, что-то быстро заговорил человеку, который стоял у открытой двери машины. Человек выслушал. Повернулся.

Шабанов. Сухой, высокий, с выбритым затылком, с лицом как топор. Он постоял, глядя вдоль поезда, потом неторопливо пошёл по перрону. Бритоголовый шёл за ним, отставая на полшага.

Шабанов дошёл до штабного вагона, где у двери стоял Хрусталёв. Варя видела их издалека. Шабанов что-то сказал, протянул Хрусталёву листок. Хрусталёв посмотрел на листок, покачал головой. Шабанов сказал ещё что-то. Хрусталёв развёл руками и снова покачал головой. Варя видела, как у него сгорбилась спина.

Потом Шабанов пошёл дальше. Мимо третьего вагона. Мимо четвёртого. Он шёл не спеша и заглядывал в окна. Мимо пятого. Шестого. Седьмого.

Он остановился перед Варей.

Вблизи он оказался старше, чем ей казалось. Лет шестьдесят, может, больше. Кожа на лице сухая, обветренная, вся в мелких морщинах, как старая карта. Глаза светлые, водянистые, без ресниц. От него пахло табаком и хорошим одеколоном.

– Здравствуйте, Варвара Андреевна, – сказал он.

Голос был негромкий, вежливый, почти ласковый. Варя не ответила. Она стояла с флажком и смотрела ему в переносицу, как учили на курсах смотреть на агрессивных пассажиров.

– Отчество у вас, кстати, по деду, – продолжил Шабанов. – По бабушкиному мужу. Андрей Николаевич Лесков, царствие ему небесное. Мама ваша вас на свою фамилию записала, и отчество дала отцовское, хотя отца вашего никто в глаза не видел. Мне всегда это нравилось. Самостоятельная женщина была Нина Андреевна. Очень самостоятельная.

– Что вам нужно? – спросила Варя.

– Мне нужна девочка. – Шабанов говорил тихо, без нажима, будто обсуждал погоду. – Шестнадцати лет. Тёмненькая, мокрая. Сбежала из хвоста на технической стоянке. Мой сотрудник говорит, она к вам побежала. И что вы её к себе забрали и дверь заперли. Каким-то ключом.

– Ваш сотрудник ошибается.

– Он редко ошибается. – Шабанов чуть наклонил голову, разглядывая её. – Варвара Андреевна, давайте я вам объясню, как дело обстоит. Эта девочка – не ваша. Она вообще не человек, в общепринятом смысле. Она – договор. За неё заплачено. Очень большие деньги, и не мной. Человек, который заплатил, ждёт её. Он болен, ему недолго осталось, он хочет увидеть дочь. Вы же не хотите лишить умирающего последней встречи?

– Я не знаю, о чём вы.

– Понимаю. – Шабанов кивнул. – Разрешите, я пройду в вагон. Посмотрю.

– Пассажирам не положено.

– Я не пассажир.

Он поднялся по ступенькам, и Варя, не успев подумать, отступила, пропуская его. Бритоголовый полез следом.

Шабанов прошёл по вагону медленно, внимательно. Заглядывал в каждый отсек. Поднимал нижние полки, под которыми лежали только пыль и забытая кем-то пластиковая бутылка. Проверил верхние багажные. Открыл туалет. Открыл торцевой тамбур, посмотрел на дверь в переход, потрогал скважину под ручкой пальцем. Варя стояла в коридоре и чувствовала, как по спине стекает холодный пот.

Потом он остановился у мокрого пятна на дорожке.

– Что это?

– Кипяток пролила, – сказала Варя. – Споткнулась.

Шабанов присел на корточки. Потрогал пятно. Понюхал пальцы. Поднял на Варю светлые глаза без ресниц.

– Кипяток, – повторил он. – Холодный.

– Остыл.

– Остыл, – согласился Шабанов и выпрямился. – Бывает.

Он пошёл к служебному купе. Варя пошла за ним. Ей казалось, что пол под ногами стал мягким, как вата.

В служебном купе Шабанов остановился на пороге. Огляделся. Мамин подстаканник на столике, чай в нём, недопитый и холодный. Полка, на которой валялось высыпанное бельё. Два мешка в углу, пузатые, серые.

– Это что?

– Бельё. На сдачу.

Шабанов шагнул к мешкам. Наклонился. Протянул руку.

– Корней Иваныч!

Голос был такой громкий и такой начальственный, что Варя подскочила. Шабанов тоже обернулся, не убрав руки.

В коридоре стоял Хрусталёв. Он запыхался, лицо у него было красное, китель расстёгнут на верхнюю пуговицу.

– Корней Иваныч, – повторил он. – Там это. В Москву звонят. Ваш человек велел передать: сам звонит.

Шабанов медленно выпрямился. Посмотрел на Хрусталёва долгим взглядом.

– Сам? – переспросил он.

– Сам. Велел срочно. Связь у вокзала, в машине не берёт.

Шабанов постоял ещё секунду. Потом повернулся к Варе.

– Мы с вами ещё поговорим, Варвара Андреевна, – сказал он. – Бабушке привет передавайте. Агнии Фёдоровне. Хорошая женщина, строгая. Дом у неё деревянный, старый. Печка, говорят, плохая, труба кривая. Вы бы ей сказали, чтобы осторожнее топила. Знаете, как бывает: зима, мороз, топят по ночам. А дом деревянный.

Он ушёл. Бритоголовый ушёл за ним, оглянувшись на Варю с плохо скрытой злостью. Варя стояла в дверях служебного купе и не могла пошевелиться.

Хрусталёв подождал, пока они спустятся на перрон. Потом подошёл к ней вплотную.

– Никто никому не звонит, – сказал он очень тихо. – У тебя минут пять, пока он поймёт. Что бы у тебя там ни было, убирай.

– Аркадий Семёнович…

– Я тебе ничего не говорил. – Он не смотрел на неё. – Я ничего не видел. Я старый, у меня давление. Поняла?

– Поняла.

– Дура ты, Лескова. Вся в мать.

Он ушёл, на ходу застёгивая китель.

Варя схватила мешок, тот, где была Ася. Он оказался тяжёлым, тяжелее, чем она думала. Она поволокла его к выходу, второй закинула на плечо. Спустилась на перрон, чуть не упав со ступенек.

На перроне стоял Рябов.

– Варвара, – сказал он. Голос у него был странный, сдавленный. – Я видел. Я всё видел. Они вышли оттуда. Из вагона. Там был вагон.

– Помогите, – сказала Варя.

Рябов посмотрел на неё, на мешки, и что-то в его лице переключилось, как переключается стрелка. Удивление осталось, но поверх него встало что-то деловое, собранное.

– Что в мешке?

– Девочка.

– Живая?

– Нет.

Рябов закрыл глаза. Открыл.

– Ладно, – сказал он. – Куда нести?

– На склад. Бельевой. Он в торце вокзала, у почты.

Рябов взял у неё мешок с Асей, легко, будто там действительно были одни наволочки. Варя увидела, как он чуть дрогнул, когда взялся за мешок, будто обжёгся холодом через брезент. Ничего не сказал. Пошёл по перрону, широко и уверенно, как ходит полицейский на обходе. Варя пошла следом, со вторым мешком на плече.

– Я пришёл в пять, – говорил Рябов на ходу, не поворачивая головы, ровным голосом, каким диктуют протокол. – Встал у столба. Билет держал в кармане, как вы сказали. Поезд подошёл. Восемь вагонов. Я посчитал. Восемь, и красный фонарь на хвосте. А потом я моргнул. Просто моргнул, понимаете? И фонаря не стало. А за восьмым стоял ещё один. Зелёный,

старый. Я такие только в кино видел, про войну. На путях за ним снег лежал ровный, а под колёсами – колея. Чёрная, как будто он там всегда стоял.

– Я знаю, – сказала Варя.

– Из него стали выходить. Я сначала подумал – пассажиры. Обычные. А потом мимо меня прошёл мужчина в пиджаке, и я посмотрел ему в лицо. – Рябов сглотнул. – Я его знаю, Варвара. Это Кравцов, директор нашего мясокомбината. Его хоронили в позапрошлом году. Весь город хоронил. Я в оцеплении стоял. Опять в оцеплении.

– Он вас узнал?

– Нет. Он ни на кого не смотрел. Он шёл к машине, а там его жена стояла. Вдова. Она его обняла и закричала. Тихо закричала, понимаете? Так, что только я услышал.

Варя ничего не ответила. Они шли мимо шестого вагона, мимо пятого, мимо четвёртого. Проводники стояли у дверей с флажками и смотрели куда угодно, только не в хвост.

– И ещё, – сказал Рябов. – В дверях этого вагона стояла женщина. В форме. С фонарём. Она стояла, пока все не вышли, а потом посмотрела на меня. Прямо на меня. И ушла внутрь.

– Какая она была? – спросила Варя, и голос у неё сорвался.

Рябов впервые за всё это время повернул к ней голову.

– Похожая на вас, – сказал он.

У дальнего конца перрона, у микроавтобуса, Шабанов говорил по телефону. Варя видела, как он опустил трубку, посмотрел на экран, нахмурился. Потом поднял голову и посмотрел в их сторону. На Варю. На полицейского рядом с ней. На мешок у полицейского в руках.

Рябов не замедлил шаг. Варя тоже.

Они дошли до бельевого склада, маленькой двери в торце вокзального здания с табличкой «Приём белья с 5:00 до 7:00». Дверь была открыта. Внутри, за стойкой, сидела толстая заспанная кладовщица и пила чай из термоса.

– Восьмой вагон, шестьсот шестьдесят восьмой, – сказала Варя, сваливая мешок с плеча на стойку. – Один мешок. Второй – не сдаю, там рваное, на списание. Я акт потом принесу.

– Неси когда хочешь, – зевнула кладовщица. – Тут всё рваное.

Рябов вышел со вторым мешком через боковую дверь склада, которая вела на привокзальную площадь. Варя пошла за ним. На площади, на стоянке, стояла старая зелёная «Нива» с облупленным крылом.

– Моя, – сказал Рябов. Открыл заднюю дверь, аккуратно положил мешок на сиденье. – Садитесь вперёд.

Варя села. Рябов сел за руль. Повернул ключ. «Нива» закашлялась, затряслась и завелась со второго раза.

– Куда?

– Ямская, тридцать два. К бабушке.

Рябов кивнул и выехал со стоянки. Варя оглянулась. Чёрный микроавтобус стоял на прежнем месте, у перрона, и никто за ними не ехал. Пока.

Минуты две они ехали молча. Потом с заднего сиденья донёсся глухой голос:

– Можно я уже вылезу? Тут правда ногами пахнет.

Рябов так резко нажал на тормоз, что Варя чуть не ударилась о приборную панель. Машина встала посреди пустой улицы. Рябов сидел, вцепившись в руль, и смотрел перед собой.

Мешок на заднем сиденье зашевелился. Из горловины показалась мокрая тёмная голова, потом бледное лицо с синеватыми губами. Ася выбралась из мешка, села, отряхнула с себя полотенце и посмотрела на Рябова через зеркало заднего вида.

– Здрасьте, – сказала она вежливо. – Вы полицейский?

Рябов медленно повернулся. Посмотрел на неё. На её мокрые волосы, босые ноги, летнюю футболку. На то, как она сидит в тёплой машине и от неё поднимается не пар, как от замёрзшего человека, а лёгкий холодный туман, как от льда.

– Ты кто? – спросил он хрипло.

– Ася. Белкина. Я утонула.

– Когда?

– Семь лет назад. Мне вот она сказала.

Рябов закрыл глаза. Долго сидел так. Варя смотрела на него и ждала, что он сейчас выйдет из машины, или закричит, или скажет, что это всё чушь и его разыгрывают. Он не сделал ничего из этого.

– Белкина Анастасия, – сказал он, не открывая глаз. – Заречная улица. Июль. Я помню. Я тогда только в отдел пришёл, стажёром. Её три дня искали водолазы. Нашли у плотины. Я стоял в оцеплении.

Он открыл глаза. Снова посмотрел на Асю. Ася смотрела на него, и у неё дрожала нижняя губа.

– Вы меня видели? – спросила она тихо. – Тогда? Когда нашли?

– Видел.

– Я была… страшная?

Рябов помолчал. Потом ответил, мягко, так, как Варя от него не ожидала:

– Нет. Ты была как будто спишь.

Ася отвернулась к окну. Плечи у неё дрожали.

Рябов снова взялся за руль. Тронул машину с места. Ехал медленно, очень аккуратно, как везут хрупкое.

– Мне надо закурить, – сказал он через минуту, глядя на дорогу.

– Вы курите? – спросила Варя.

– Нет, – сказал Рябов. – Никогда не курил.

Глава 7. Холодные руки

Бабушка открыла дверь, увидела Варю, Рябова в форме и босую мокрую девочку в летней футболке, и не сказала ни слова. Только отступила в сторону, пропуская всех троих, и закрыла дверь на оба замка и на щеколду.

Потом посмотрела на Асю внимательнее. Сняла очки, протёрла фартуком, надела снова.

– Белкина, – сказала она. – Настя. Из седьмого «Б».

Ася вытаращила глаза.

– Агния Фёдоровна?

– Я. – Бабушка поджала губы. – Я у вас в пятом классе дроби вела, когда Марина Петровна в декрет ушла. Ты у меня контрольную списала у Лопатиной. Помнишь?

– Помню, – прошептала Ася. – Вы мне три поставили, а не два. Сказали – за смелость.

– За наглость, – поправила бабушка. – Ну, проходи. Не стой в дверях, наследишь.

Ася робко шагнула в прихожую. С её волос всё ещё капало на половик. Бабушка смотрела на эти капли, потом на синеватые губы, потом на босые ноги, на которых не было ни пятнышка грязи, хотя девочка прошла по снегу от машины до крыльца. Варя видела, как бабушка сглотнула. Но голос у неё остался прежним, учительским, строгим.

– Варвара. Ставь чайник. Лейтенант, вы разувайтесь, у меня полы. Настя, иди со мной, переоденешься. Что ж ты в одной футболке, в ноябре.

Она увела Асю в мамину комнату. Варя слышала, как скрипнула дверца старого шкафа, как бабушка что-то говорила вполголоса, а Ася отвечала односложно. Рябов стоял в прихожей, сняв ботинки, в носках, и оглядывался так, будто попал на другую планету: ковёр с оленями, бутылка из-под шампанского на кухонном столе, кривая печная труба, мамина фотография в рамке.

– Это ваша мама? – спросил он.

– Да.

Рябов подошёл к фотографии. Смотрел долго.

– Она, – сказал он тихо. – Та, с фонарём.

Варя не ответила. Она стояла у плиты и смотрела, как под чайником пляшет синее пламя, и думала о том, что больше всего на свете хочет и больше всего на свете боится, чтобы это было правдой.

Бабушка вывела Асю минут через десять. На девочке был мамин свитер, толстый, серый, связанный бабушкой ещё в те времена, когда у неё не болели пальцы, мамины шерстяные носки и мамины же старые спортивные штаны, подвёрнутые на щиколотках. Волосы бабушка вытерла полотенцем, расчесала и заплела в косу. Коса была мокрая. Она оставалась мокрой и потом, весь день, сколько бы Ася ни сидела у печки.

– Садись, – велела бабушка. – К печке ближе.

Ася села на табуретку у печи, прижалась к ней спиной. Печь была горячая, бабушка топила с утра. Ася сидела и ждала. Потом подняла на бабушку растерянные глаза.

– Я не чувствую, – сказала она. – Совсем. Ни тепло, ни холодно. Как будто я в вате.

– Ничего, – сказала бабушка. – Всё равно сиди. Так положено.

Она налила Асе чаю. Ася пить не стала, только держала кружку в руках. Бабушка поставила на стол пирожки, вчерашние, с капустой. Ася откусила кусочек, пожевала, проглотила с трудом.

– Как бумага, – сказала она виновато. – Простите. Вы вкусно печёте, я помню. Вы нам на выпускной в начальной школе пирожки приносили. Но я не чувствую.

– Не ешь тогда. – Бабушка забрала у неё пирожок и положила себе на тарелку. – Не надо через силу.

Рябов сидел за столом, держал свою кружку и смотрел на Асю. Варя видела, что он всё ещё не может прийти в себя. Он смотрел на неё, как смотрят на загадку, которую надо решить, а решения нет. Потом он посмотрел на часы.

– Мне надо в отдел, – сказал он. – Смена с восьми. Если не приду, будут вопросы. А вопросы сейчас не нужны.

– Иди, – сказала бабушка. Она уже перешла с ним на «ты», и он, кажется, не заметил.

– Я после смены приеду. Часов в восемь. – Рябов встал, посмотрел на Варю. – Никуда не ходите. Шабанов не дурак. Он поймёт, что я её увёз. Он будет искать.

– Он и так знает, где я живу, – сказала Варя. – Он про бабушкину трубу говорил.

Бабушка подняла голову.

– Что говорил?

Варя рассказала. Про Шабанова на перроне, про отчество, про деревянный дом и кривую трубу и про то, что зимой топят по ночам. Бабушка выслушала, не перебивая. Потом взяла со стола бутылку из-под шампанского, повертела её в руках и поставила обратно.

– Пусть попробует, – сказала она спокойно. – Я в этом доме семьдесят четыре года живу. Меня отсюда немцы не выгнали бы, если бы дошли, а уж Корнейка Шабанов и подавно. Я его помню, когда он ещё в пэтэу учился и у меня на задней парте сидел. Двоечник. Тупой и злой. Ничего с тех пор не поменялось, только костюм подорожал.

Рябов посмотрел на неё с уважением. Потом надел ботинки и ушёл.

Когда за ним закрылась калитка, бабушка вышла в сени, и Варя пошла за ней. В сенях было холодно, пахло квашеной капустой из бочки и берёзовыми вениками. Бабушка стояла у маленького окошка и смотрела, как Рябов садится в свою зелёную машину.

– Хороший парень, – сказала она. – Упрямый. Это видно.

– Бабушка.

– Что?

Варя не знала, как спросить. Слова не складывались. Бабушка подождала, потом сама повернулась к ней.

– Ты её видела, – сказала она. – Нину. Там.

– Я видела женщину с фонарём. Со спины. Потом издалека. Лица не видела. – Варя сглотнула. – А Тимофей видел. Он сейчас на фотографию посмотрел и сказал: она.

Бабушка долго молчала. Потом взяла с полки веник, зачем-то стряхнула с него сухие листья, повесила обратно.

– Я тебе одну вещь скажу, – произнесла она наконец. – Только ты не думай, что я из ума выжила. По четвергам, под утро, раз в неделю, я просыпаюсь. Пятнадцать лет просыпаюсь. Около пяти. И слышу, как у калитки фонарь звякает. Железом о железо. Как Нина, когда с рейса шла, всегда фонарём о калитку задевала, у неё рука левая была неловкая. Я встаю, выхожу. Никого. Снег ровный. А звякнуло.

– Ты никому не говорила?

– А кому? – Бабушка усмехнулась. – Врачу? Он мне таблетки выпишет. Батюшке? Батюшка скажет, что душа неупокоенная, и велит сорокоуст заказать. Я заказывала. Три раза. Не помогло.

Она посмотрела на Варю.

– Я думала, это я её держу. Своим горем. Что не отпускаю. А выходит, её кто-то другой держит.

– Кто?

– Не знаю, Варвара. – Бабушка взяла её за руку, и рука у бабушки была тёплая и шершавая. – Но если узнаешь, ты мне скажи. Я хоть и старая, а дрова колоть ещё могу.

Она ушла в дом. Варя постояла в сенях одна, глядя в маленькое окошко на пустую улицу, на снег у калитки, ровный, без следов.

Целый день Ася сидела у печки. Варя пыталась уснуть и не могла. Бабушка возилась на кухне, гремела кастрюлями, и Варя понимала, что гремит она нарочно, чтобы не было тихо.

Ася разговаривала. Сначала мало, потом больше. Она рассказывала про то, что помнила. Про седьмой «Б», про Лопатину, которая была её лучшей подругой и с которой они поругались за неделю до того июльского вечера из-за мальчика, которого обе даже толком не знали. Про то, что хотела поступать в медицинский. Про маму.

– Мама у меня продавщица, – говорила Ася. – В «Пятёрочке» на Ленина. Она меня одна растила. Папа ушёл, когда мне пять было. К другой, в Смоленск. Он стройкой занимается, богатый. Алименты платил, но не приходил никогда. Я его и не помню почти. Помню, что у него очки были и он пах сигаретами.

– А мама?

– Мама хорошая. – Ася замолчала. – Мы с ней поругались в тот день. Утром. Она не хотела меня отпускать на речку. Говорила, что там течение, что в прошлом году мальчик утонул. А я сказала, что она меня достала, что мне шестнадцать и я сама знаю. И ушла. Дверью хлопнула.

Она смотрела в пол.

– Я ей даже не сказала «пока».

Варя сидела рядом и не знала, что сказать. Ей хотелось обнять Асю, но она не решалась. Холодная кожа, мокрая коса, отражение в тёмном стекле окна, которое поворачивало голову на полсекунды позже.

– Варя, – сказала Ася. – Отведи меня к маме.

– Ася, Шабанов…

– Я знаю. Но я хочу маму увидеть. Хоть одним глазом. Хоть издалека. Пожалуйста. – Ася подняла глаза. – Если у меня семь дней, если меня потом обратно… Я хочу ей сказать «пока». Хоть раз.

Варя посмотрела на бабушку. Бабушка стояла у плиты с половником в руке и смотрела на Асю.

– Тимофей сказал никуда не ходить, – напомнила бабушка.

– Тимофей сказал, – согласилась Варя.

Бабушка помолчала. Потом положила половник.

– Нинино пальто в шкафу, синее, – сказала она. – И шапку возьми, вязаную, и платок. И валенки, они в сенях. Валенки ей велики будут, пусть шерстяные носки вторые наденет. – Она подошла к Асе, поправила ей воротник свитера. – Близко не подходите. Посмотрите и назад. Час. Если через час не вернётесь, я Тимофею звоню.

Ася вскочила и обняла её. Бабушка вздрогнула от холода, но не отстранилась. Постояла так, гладя девочку по мокрой косе, и Варя увидела, что у бабушки дрожит подбородок.

Заречная улица была в старой части города, за рекой. Частный сектор: деревянные дома, заборы, яблони за заборами, голые и чёрные. Варя и Ася шли пешком, потому что такси Варя вызывать не решилась. Ася в синем мамином пальто, в вязаной шапке, натянутой до бровей, в огромных валенках, шла неуклюже, переваливаясь, и всё время смотрела по сторонам, будто впервые видела этот город.

– Всё другое, – сказала она на мосту. – Магазины другие. Машины. Вон там был ларёк с шавермой, а теперь аптека. А вон там был пустырь, а теперь дом. Высокий.

– Семь лет, – сказала Варя.

– Семь лет, – повторила Ася. Остановилась у перил, посмотрела вниз, на реку. Река была тёмная, медленная, у берегов уже схваченная тонким ледком. – Вон там, – сказала она. – За поворотом. Там пляж. Я оттуда плыла.

Она смотрела на воду. Варя взяла её за руку, осторожно, и потянула дальше. Ася пошла.

Дом Белкиных оказался одноэтажным, обшитым выцветшим зелёным сайдингом, с маленьким палисадником, в котором торчали сухие стебли каких-то цветов. Калитка покосилась. На крыльце стояли резиновые сапоги. Из трубы шёл дым.

Ася остановилась за два дома до калитки, у чужого забора, под голой рябиной, на которой ещё висели сморщенные красные ягоды.

– Мама дома, – сказала она. – Видишь, дым. Она всегда в четверг выходная.

Они стояли и смотрели. Минуту. Пять. Ничего не происходило. Дым поднимался из трубы ровным столбом, снег на крыше лежал нетронутый.

Потом дверь открылась, и на крыльцо вышла женщина.

Она была маленькая, полная, в старой куртке, накинутой на халат, в тапочках на босу ногу. Волосы у неё были тёмные, с проседью, собранные в небрежный пучок. В руках она держала таз с бельём. Она поставила таз на перила крыльца, достала из кармана прищепки и стала вешать бельё на верёвку, натянутую между крыльцом и сараем. Простыня. Наволочка. Полотенце. Белая детская маечка, совсем маленькая, на годовалого ребёнка.

Ася издала странный звук. Не всхлип, не вздох. Что-то среднее.

– У неё ребёнок, – прошептала она. – Маленький.

Варя ничего не сказала. Женщина на крыльце повесила маечку, выпрямилась, потёрла поясницу. Посмотрела на небо. Лицо у неё было усталое и спокойное.

Ася сделала шаг вперёд. Потом ещё один.

– Ася, – тихо сказала Варя.

Ася не слышала. Она шла к калитке, медленно, в огромных валенках, и Варя видела, как у неё дрожат плечи под синим пальто.

И тут Варя увидела микроавтобус.

Он стоял в переулке, в тупике за домом Белкиных, наполовину скрытый сараем. Чёрный, с тонированными стёклами. Двигатель работал: из выхлопной трубы шёл белый пар. А у сарая, прислонившись к стене, курил бритоголовый из девятого вагона.

Он увидел их одновременно с Варей. Бросил сигарету, выпрямился, полез в карман за телефоном.

– Ася! – Варя рванулась вперёд, схватила её за руку. – Назад! Быстро!

Ася обернулась. Увидела бритоголового. Лицо у неё исказилось.

Женщина на крыльце подняла голову на крик.

Но Варя уже тащила Асю прочь, назад, к мосту, через чужой двор, мимо собачьей будки, из которой выскочила рыжая дворняга и залилась лаем. Валенки у Аси соскакивали, она спотыкалась, и Варя почти несла её. Сзади хлопнула дверь машины. Взревел мотор.

Они вылетели на соседнюю улицу, перебежали её, нырнули в проход между двумя заборами, узкий, заросший сухим бурьяном. Проход вёл вниз, к реке, к оврагу. Варя бежала, не разбирая дороги. Сзади было слышно, как микроавтобус пытается развернуться в переулке, как буксуют колёса на снегу.

Овраг был глубокий, с крутыми склонами, заросший ивняком. Внизу, у самой воды, стояла старая банька, полуразвалившаяся, без двери, с провалившейся крышей. Варя втащила Асю внутрь, прижала к стене, сама встала рядом.

Тишина. Только река шумела где-то рядом, за ивняком, глухо и равнодушно.

Ася дрожала. Не от холода, Варя это знала. От другого.

– Вода, – прошептала Ася. – Тут вода рядом.

– Я знаю. Потерпи.

– Я не могу. Я её слышу. Она меня зовёт.

Варя обняла её. Крепко, обеими руками. Холод прошёл сквозь пальто, сквозь Варину куртку, сквозь кожу, до самых костей, но Варя не отпустила. Она стояла в развалившейся бане,

прижимая к себе мёртвую девочку, которая боялась реки, и слушала, как наверху, по краю оврага, медленно едет машина.

Машина проехала мимо. Остановилась. Хлопнула дверь. Чьи-то шаги, тяжёлые, по мёрзлой земле. Потом голос, раздражённый:

– Да нету их тут. Ушли к мосту. Давай на ту сторону.

Хлопнула дверь. Машина уехала.

Варя достала телефон. Руки не слушались, она дважды промахнулась мимо нужного номера.

– Рябов, – ответил он.

– Это я. Мы на Заречной. В овраге, за домом Белкиных, у реки. Там баня старая. Шабанов здесь.

Пауза. Потом голос Рябова, очень спокойный:

– Я же сказал не ходить.

– Я знаю.

– Сидите там. Десять минут.

Он приехал через восемь. Спустился в овраг по склону, цепляясь за ивняк, в форме, без шапки. Увидел их в бане, выдохнул. Ничего не сказал. Взял Асю на руки, как маленькую, хотя она уже почти могла идти сама, и понёс наверх, к «Ниве», которую бросил на обочине с открытой дверью.

В машине Ася сидела на заднем сиденье, сжавшись в комок, обхватив колени руками. Синее мамино пальто, валенки, один из которых она всё-таки потеряла в овраге. Шапка съехала на глаза.

– У неё ребёнок, – сказала она, ни к кому не обращаясь. – У мамы. Маленький. Она маечку вешала.

– Да, – сказал Рябов. – Я знаю. Мальчик. Год и два месяца. Она вышла замуж три года назад.

Ася подняла голову.

– Откуда вы знаете?

– Я проверил, пока ехал. – Рябов смотрел на дорогу. – Ася. Твоя мама не обращалась ни в какой фонд. У неё нет денег. Она продавщица, муж её водитель автобуса. Они ипотеку платят.

– Значит, не мама, – сказала Ася. – Не мама меня позвала.

– Нет.

– А кто?

Рябов помолчал. Потом ответил:

– Олег Викторович Белкин. Твой отец. Застройщик, Смоленск. Месяц назад перевёл фонду «Свеча» двенадцать миллионов рублей. Благотворительное пожертвование, всё по закону. У меня друг в налоговой.

Ася долго молчала. Потом засмеялась, коротко и страшно.

– Папа, – сказала она. – Папа, который не приходил. Который даже на похороны мои, наверное, не приехал.

– Приехал, – сказал Рябов. – Я помню. Стоял в стороне. В очках.

Ася отвернулась к окну.

Вечером, когда стемнело, она сидела у бабушкиного окна в маминой комнате и смотрела на улицу. Варя принесла ей кружку чаю, которую Ася всё равно не стала бы пить, и села рядом.

– Знаешь, что самое страшное? – сказала Ася, не оборачиваясь. – Я не хочу к нему. К папе. Я его не знаю. Я хочу к маме. А мама меня не звала. У мамы маечка на верёвке. И это правильно. Это хорошо, что не звала. Это значит, она живёт.

За окном по Ямской проехала машина, медленно, с выключенными фарами. Варя проводила её взглядом, пока красные габариты не скрылись за поворотом. Может быть, сосед.

Может быть, нет. Она прижалась лбом к холодному стеклу. В стекле её отражение помедлило и тоже прижалось лбом.

– Мне от этого так плохо, Варя, – сказала Ася. – Ты не представляешь как. Даже хуже, чем там.

Варя взяла её руку. Холодную, тонкую, с облупленным розовым лаком на ногтях. Держала и молчала, потому что ничего правильного сказать было нельзя, а неправильного она говорить не хотела.

Потом в сенях хлопнула дверь, и бабушка громко сказала, что Тимофей приехал и привёз пельменей, и что лейтенантов, видно, кормят хуже, чем учителей, раз он сам их лепить не умеет. Ася вытерла глаза рукавом маминого свитера и впервые за весь день почти улыбнулась.

Глава 8. Фонд «Свеча»

Пельмени были магазинные, слипшиеся в один большой ком, и бабушка долго разделяла их ножом, ворча, что такими только забор конопатить. Рябов стоял рядом и виновато оправдывался, что других в ларьке у отдела не было. Ася сидела у печки и смотрела на них, и Варе казалось, что ей от этой обычной кухонной перебранки становится легче. Как будто она смотрела в окно на чужую жизнь и грелась хотя бы ею.

Ели втроём. Ася сидела с ними за столом, перед ней стояла пустая тарелка, потому что так велела бабушка: за столом все должны сидеть с тарелкой, иначе не по-людски. Рябов съел две порции, жадно, как едят люди, которые не ели с утра. Потом отодвинул тарелку, достал из куртки блокнот и положил на стол.

– Я не только пельмени покупал, – сказал он.

– Рассказывай, – велела бабушка.

Рябов открыл блокнот. Почерк у него был мелкий, неразборчивый, весь в сокращениях.

– Белкина Анастасия Олеговна, – начал он и посмотрел на Асю. – Прости. Я по порядку.

– Ничего, – сказала Ася. – Читайте. Мне интересно, что про меня написали.

– Свидетельство о смерти выдано загсом Вязьмы. Причина – утопление. Похоронена на кладбище на Бозне, участок у южной ограды. Памятник поставлен через год, деньги перевёл Белкин О. В. Мать к памятнику ходит каждый месяц, сторож её знает.

Ася смотрела в пустую тарелку.

– Дальше, – сказала бабушка.

– Кравцов Пётр Сергеевич, директор мясокомбината. Тот, что вышел сегодня утром из вагона. Умер позапрошлой зимой, сердце. Похоронен на Бозне. Его вдова полгода назад продала их загородный дом. Деньги – сорок миллионов. Куда ушли, неизвестно, но в тот же месяц фонд «Свеча» отчитался о крупном пожертвовании от частного лица.

– Дальше.

– Фонд «Свеча». – Рябов перелистнул страницу. – Зарегистрирован пять с половиной лет назад. Учредитель – Ступин Глеб Аркадьевич. Директор – Мирская Ирина Львовна, сорок лет, до этого работала психологом в областной больнице. Фонд помогает людям, потерявшим близких. Группы поддержки, бесплатные консультации, помощь в организации похорон. Офис в бывшем доме быта на Советской площади, второй этаж. По средам вечером – «вечер памяти». Собираются родственники умерших, пьют чай, рассказывают о своих. Открыто для всех.

– По средам, – сказала Варя. – Поезд из Москвы уходит в среду.

– Да. – Рябов кивнул. – Я тоже заметил. И ещё. У фонда есть волонтёрская программа. «Дорога домой». Помощь бездомным в возвращении к родным. Им покупают билеты, дают деньги на дорогу, водку не дают, это я так, к слову. Программа работает только на одном направлении. Вязьма – Москва. Только по четвергам. Только на поезд шестьсот шестьдесят семь.

Бабушка перекрестилась. Варя видела это впервые в жизни.

– Сколько их отправили?

– По отчётам фонда – двести сорок человек за пять лет. «Успешно воссоединились с семьями». Ни одной фамилии. Ни одного адреса. Ни одного отзыва.

Он закрыл блокнот.

– И ещё одна вещь. Самая неприятная. – Рябов посмотрел на Варю. – Я сегодня пошёл в архив отдела. В тот самый, который «мог пострадать при переезде». Архивариус у нас – старуха, Зоя Михайловна, она там с советских времён сидит. Я ей шоколадку, она мне чай. Разговорились. Я спросил про пожар на мосту пятнадцать лет назад. Она сказала, что папка была, толстая. Потом пришли люди из управления дороги, забрали её на проверку. Обратно

не вернули. Но у неё осталась книга регистрации. Знаете, такая амбарная, куда записывают всё, что поступает.

– И что там?

– Там запись о неопознанном теле. Мужчина, сорок пять – пятьдесят лет. Сильно обгорел. Найден в служебном купе девятого вагона, рядом с какими-то ящиками. Документов при нём не обнаружено. При нём обнаружен металлический портсигар, оплавленный. Гравировка частично читается. «Л. М. от сослуживцев». – Рябов помолчал. – Портсигар приобщён к делу. Дело забрали. Тело похоронено за счёт государства на Бозне, в секторе для неопознанных. Номер двадцать четыре.

– Двадцать четвёртый, – сказала Варя. – Гена искал его.

– Л. М., – задумчиво повторила бабушка. – Л. М.

– Вы знаете кого-нибудь?

– Пока нет. – Бабушка нахмурилась. – Но что-то мне это напоминает. Дай подумать.

Она замолчала. Ася вдруг подняла голову.

– Можно я спрошу?

– Спрашивай.

– А те, кто приехал вместе со мной. Сегодня. Они все вернутся? Обратно?

Рябов посмотрел на Варю. Варя посмотрела на бабушку.

– Да, – сказала Варя. – Через неделю. В следующий четверг. Вечером. На обратном поезде.

– А если не вернуться?

Варя не ответила. Ася ждала. Потом сказала сама, тихо и ровно:

– Я знаю. Лысый говорил. Там, в вагоне, по телефону, когда меня считал. Он сказал кому-то: «Неделя, и обратно. Кто не сядет, тот сгорит. Видел я одного. Не советую». И засмеялся.

На кухне стало очень тихо. Слышно было, как трещат дрова в печке.

– У меня семь дней, – сказала Ася. – Уже шесть с половиной. А потом либо туда, где ничего нет. Либо я сгорю. Изнутри.

Она посмотрела на свои руки, лежащие на столе. Тонкие, бледные, с облупленным лаком.

– Я не знаю, что хуже, – сказала она. – Честно не знаю.

Бабушка встала, подошла к ней сзади и положила руки ей на плечи. Ничего не сказала. Просто стояла так, и Ася закрыла глаза.

Рябов смотрел в стол. Варя видела, как он сжимает и разжимает кулак.

Потом бабушка вдруг отпустила Асины плечи, выпрямилась и сказала совсем другим голосом, будто вызвала к доске:

– Вспомнила.

Все посмотрели на неё.

– Л. М. – Бабушка вернулась к своему стулу, села, сложила руки на столе. – За день до того рейса к нам приходил человек. Вечером, часов в восемь. Нина была дома, она на следующий день в рейс выходила. Я открыла. Мужчина лет пятидесяти, в хорошем пальто, в шляпе, с портфелем. Вежливый, как из прошлого века. Сказал, что из управления, по служебному делу, ему нужна проводник Лескова. Я Нину позвала. Они на крыльце разговаривали, долго, минут сорок. Он курил. Портсигар у него был блестящий, я ещё подумала: надо же, кто сейчас портсигары носит.

– О чём говорили?

– Не знаю. Я не подслушивала. – Бабушка поджала губы. – Ну, почти не подслушивала. Слышала, как Нина сказала: «Без документов не приму». А он ей: «И правильно, Нина Андреевна. И не принимайте. А если будут давить, я буду в вашем вагоне». Потом он ушёл. Нина вернулась злая и весёлая одновременно, как она бывала, когда решалась на что-нибудь. Я спросила, кто это. Она сказала: «Ревизор, мама. Честный человек. Таких больше не делают».

– Имя? – спросил Рябов, уже держа ручку над блокнотом.

– Не назвал. Или назвал, а я не запомнила. – Бабушка покачала головой. – Пятнадцать лет, Тимофей. Я тогда думала, это просто какое-то служебное дело. А потом через два дня… Потом мне было не до ревизоров.

– «Я буду в вашем вагоне», – медленно повторила Варя.

– Он и был, – сказал Рябов. – Номер двадцать четыре. Служебное купе, рядом с ящиками.

Бабушка закрыла глаза. Долго сидела так, и никто не решался заговорить.

– Значит, Нина была не одна, – сказала она наконец. – Хоть так. Хоть не одна.

– Я должна сегодня работать, – сказала она наконец. – Обратный рейс. В двадцать три десять.

– Не ходи, – сказала бабушка.

– Если не выйду, меня снимут с маршрута. Возьмут кого-нибудь другого на восьмой. И я больше никогда не попаду в тот тамбур.

– Я останусь, – сказал Рябов. – Здесь. У меня завтра выходной. Посижу с Агнией Фёдоровной.

– Шабанов…

– Шабанов не полезет в дом, где сидит полицейский. Не сейчас. Ему лишний шум не нужен. – Рябов посмотрел на неё. – А ты в Москве не задерживайся. Возвращайся первым поездом. В пятницу будь здесь.

Он сказал ей «ты», впервые, и сам, кажется, этого не заметил. Варя заметила.

В десять вечера она вышла из дома. Рябов проводил её до калитки. Ночь была ясная, морозная, над крышами висела ущербная луна. На противоположной стороне улицы, у соседского забора, стояла машина с выключенными фарами. Внутри кто-то сидел, и в темноте салона тлел огонёк сигареты.

– Видишь? – тихо спросила Варя.

– Вижу, – сказал Рябов. – Пусть сидит. Мёрзнет.

Он постоял, глядя на машину. Потом снял с пояса фонарик, большой, полицейский, включил и направил луч прямо в лобовое стекло. Огонёк сигареты дёрнулся и погас. Машина завелась и медленно уехала.

– Детский сад, – сказал Рябов. – Иди. Я тут.

Варя пошла. На углу она обернулась. Рябов стоял у калитки, высокий, в расстёгнутой куртке, с фонариком в руке, и смотрел ей вслед. За его спиной светилось окно маминой комнаты, и в окне был виден силуэт девочки с косой, которая тоже смотрела на улицу. Варя подумала, что так, наверное, выглядят люди, которых оставляют сторожить дом. И что ей очень давно никто не смотрел вслед.

На вокзале Варя приняла вагон, проверила титан, разложила бельё. Пассажиров было пятнадцать. Хрусталёв прошёл мимо неё по перрону и не сказал ни слова, только чуть заметно кивнул.

В двадцать два пятьдесят пять она обернулась.

Девятый вагон стоял на своём месте. Двери были открыты. Жёлтый огонёк горел в дальнем окне.

По перрону шли люди. Варя узнала их сразу, хотя видела всего раз, неделю назад, в полутьме: это были те, кто вышел из девятого в её первое утро. Мужчина в длинном сером пальто и шляпе. Молодая женщина в болоньевой куртке. Старик с тростью и стоящими часами. Ещё несколько. И старушка с пустой авоськой, в пальто с цигейковым воротником. Клавдия Ивановна Орешкина. Её вёл под руку сын, Виктор, без шапки, с красными ушами, и лицо у него было уже не мокрое, а серое, как у человека, который не спал неделю.

Поравнявшись с восьмым вагоном, Клавдия Ивановна подняла голову и увидела Варю. Улыбнулась. Кивнула ей, как старой знакомой. И пошла дальше, мелкими шажками, к зелё-

ному вагону с овальными табличками. Варя смотрела ей вслед и думала, что прошла ровно неделя. Семь дней. Ни часом больше.

Рядом с каждым шёл кто-то живой. Мужчину в пальто провожала женщина его лет, с прямой спиной, и держала его под руку так крепко, что побелели костяшки. Молодую женщину в болоньевой куртке провожала девочка-подросток, наверное, дочь. Девочка не плакала. Она шла и смотрела перед собой, и лицо у неё было такое, будто ей только что поставили укол.

А позади, отдельно, вели залогов.

Варя заставила себя смотреть. Она смотрела и запоминала. Мужчина лет пятидесяти, в рваном пуховике, с перевязанной грязным бинтом рукой. Женщина неопределённого возраста, с опухшим лицом, в мужских ботинках. Двое парней, совсем молодых, по виду из деревни, в одинаковых спортивных костюмах, испуганные и пьяные. Старик в ватнике, который шёл сам, без провожатых, и что-то бормотал себе под нос. Ещё двое, которых Варя не разглядела.

Их вели те же люди в тёмных куртках. И женщина в белой стёганой куртке шла рядом, с папкой в руках, и что-то говорила старику в ватнике, ласково, как говорят медсёстры в больнице. Старик кивал.

Когда процессия поравнялась с восьмым вагоном, Варя сделала шаг навстречу женщине в белой куртке. Вблизи та оказалась совсем молоденькой, лет двадцати двух, с румяными от мороза щеками, с аккуратной чёлкой и с бейджиком на груди: «Елизавета. Волонтёр». Глаза у неё были добрые и немного сонные.

– Извините, – сказала Варя. – Вы из фонда?

– Да, – улыбнулась девушка. – Программа «Дорога домой». Вы проводница? Ой, как хорошо. Вы им чайку дадите, если что? Они замёрзли, бедные.

– Куда они едут?

– Домой. К родным. – Лиза посмотрела на старика в ватнике с такой нежностью, будто это был её собственный дед. – Мы их находим на вокзале, разговариваем, узнаём, где семья. Покупаем билет, даём денег на дорогу. В Москве их встречают наши партнёры и развозят по адресам. Это очень хорошая программа. У нас уже больше двухсот человек вернулись к семьям.

– А вы хоть раз видели, как они вернулись? – спросила Варя. – Хоть одно письмо? Хоть один звонок от родных?

Лиза моргнула. Улыбка у неё стала чуть растерянной.

– Ну… Это же не моя часть работы. Это партнёры в Москве. Ирина Львовна говорит, что всё отслеживается. Нам показывали отчёт.

– С фамилиями?

– Фамилии – это персональные данные, – машинально сказала Лиза, явно повторяя чужие слова, и тут же нахмурилась, будто сама впервые их услышала. – А почему вы спрашиваете?

– Потому что они не доезжают до Москвы, – сказала Варя.

Лиза смотрела на неё. Румянец на её щеках медленно бледнел.

– Елизавета! – окликнул кто-то из людей в тёмных куртках. – Пойдём, нам ещё отчёт сдавать.

Лиза вздрогнула, оглянулась. Потом снова посмотрела на Варю, быстро, испуганно, и пошла к вокзалу, прижимая папку к груди. У самого входа она обернулась ещё раз.

Варя достала из кармана тетрадь Гены. Открыла на последней странице, где кончались его записи. Взяла ручку. Пальцы не слушались, буквы получались кривыми, но она написала:

«Четверг. Обратный. Ушло девять. Залогов девять. Старик в ватнике. Женщина в мужских ботинках. Мужчина с бинтом на руке. Двое парней в спортивных костюмах».

Она не знала их имён. Она подумала, что никто, наверное, не знает их имён, и что если она сейчас не запишет хотя бы приметы, то через неделю не останется ничего. Ни имени, ни примет, ни следа на снегу.

– Варвара Андреевна.

Шабанов стоял у её двери. Как он подошёл, она не заметила.

– Вы что-то пишете? – вежливо поинтересовался он.

Варя закрыла тетрадь и убрала в карман.

– Отчёт о рейсе.

– Похвально. – Шабанов чуть улыбнулся. – Я ненадолго. Вы, наверное, уже знаете, кто ждёт девочку. Ваш лейтенант умный, он узнает быстро.

Варя молчала.

– Олег Викторович – человек больной, – продолжил Шабанов. – Рак поджелудочной. Врачи дают ему месяц, может, два. Он бросил дочь, когда ей было пять, и жалеет об этом каждый день. Он заплатил за то, чтобы сказать ей одно слово. «Прости». Вы понимаете? Одно слово. Он сидит сейчас в гостинице на Ленина и ждёт. А вы прячете от него дочь у бабушки на Ямской.

– Пусть сам придёт, – сказала Варя.

Шабанов поднял бесцветные брови.

– Простите?

– Если он хочет сказать «прости», пусть сам придёт. Без вас. Без микроавтобуса. Без людей в куртках. Пусть придёт и постучит в дверь, как нормальный человек. Ася решит, открывать или нет.

Шабанов смотрел на неё долго. Потом медленно кивнул.

– Я передам, – сказал он. – Но вы должны понимать, Варвара Андреевна. Девочка всё равно сядет в этот вагон. Через неделю. Или сгорит. Третьего не дано. Вы ей ничего не изменили. Вы только украли у неё неделю с отцом. И у него тоже.

– А вы? – спросила Варя. – Вы ей что-нибудь изменили? Вы её спросили, хочет ли она?

Шабанов улыбнулся шире. Улыбка у него была неприятная: только губы, без глаз.

– Мёртвых не спрашивают, – сказал он. – Их заказывают.

Он ушёл. Варя стояла у двери с флажком и смотрела, как девять мёртвых и девять живых поднимаются в зелёный вагон с овальными табличками, как женщина в белой куртке машет им вслед рукой, как девочка-подросток, проводившая мать, стоит у ступенек и не уходит, пока дверь не закрывается сама.

Поезд тронулся в двадцать три десять.

В ноль часов пять минут он встал у Сухой Ветлы. Варя стояла в торцевом тамбуре, не включая света, и смотрела через стекло. Она видела, как за дверью девятого вагона, в коридоре, медленно проплыл жёлтый огонёк фонаря. Остановился. Будто кто-то заглянул в стекло с той стороны.

Варя подняла руку. Медленно. Выше плеча.

Огонёк качнулся. Поднялся. Опустился.

А потом лязгнула расцепка, и девятый вагон ушёл назад, в темноту, увозя восемнадцать человек, и снег за ним лёг на рельсы ровно, как будто там никогда ничего не было.

Варя вернулась в служебное купе, села и открыла тетрадь. Под своими записями дописала ещё одну строчку:

«Она меня видит».

Через полчаса в дверь служебного постучали. Хрусталёв вошёл без приглашения, тяжело опустился на откидное сиденье напротив, снял фуражку и положил её на колени. Вид у него был измученный.

– Чаю дашь? – спросил он.

Варя налила. В обычный стакан, в обычный подстаканник, казённый. Хрусталёв посмотрел на мамин, стоявший рядом, и ничего не сказал. Пил долго, мелкими глотками, грея руки.

– Я видел, – сказал он наконец, глядя в стакан. – Из своего тамбура. Ты ей руку подняла. А она тебе фонарём ответила.

– Да.

– Пятнадцать лет, – сказал Хрусталёв. – Пятнадцать лет я на этом поезде. Каждую неделю. Туда и обратно. Каждую неделю стою в тамбуре на этой стоянке. И ни разу. Ни разу она мне не ответила. Смотрит сквозь меня, как сквозь стекло.

Он поставил стакан на столик. Рука у него дрожала.

– Почему? – спросила Варя.

Хрусталёв долго молчал. Потом надел фуражку, встал.

– Потому что есть за что, – сказал он. – Спокойной ночи, Лескова.

Он вышел. Варя смотрела на закрытую дверь, потом на тетрадь, потом снова на дверь, и думала о том, что в этом поезде, кажется, нет ни одного человека, который не прятал бы чего-нибудь в своём бельевом мешке.

Глава 9. Сухая Ветла

В пятницу Варя вернулась в Вязьму дневным поездом. Ехала сидя, у окна, и всю дорогу смотрела на проплывающие мимо станции, перелески, переезды, деревни с покосившимися заборами. Она проезжала этот путь сотни раз, в детстве с бабушкой, потом одна, студенткой. Никогда раньше она не замечала, сколько вдоль дороги брошенных платформ. Бетонные плиты, заросшие ивняком. Ржавые таблички без названий. Будки с выбитыми окнами. Как будто железная дорога была длинным коридором, вдоль которого когда-то жили люди, а потом ушли, оставив двери открытыми.

Сухую Ветлу днём поезд проскочил, не сбавляя хода. Варя успела увидеть только краешек: серые плиты платформы, засыпанные снегом, столб без фонаря, чёрную стену ельника. И сразу за ней мост. Короткий, металлический, клёпаный, с фермами по бокам, над узкой тёмной речкой в снежных берегах. Колёса прогрохотали по мосту гулко и отрывисто, будто кто-то пробежал по железной крыше. Варя вцепилась в подлокотник. Потом мост кончился, и снова потянулся лес.

Рябов встречал её на вокзале. Без формы, в той же тёмной куртке и в вязаной шапке. Он сказал, что Ася в порядке, сидит с бабушкой и учит её раскладывать пасьянс, а бабушка учит её решать квадратные уравнения, потому что «мозги должны работать, даже если всё остальное уже не работает». Сказал, что ночью у дома дважды проезжала машина, но никто не останавливался. Сказал, что выспался на диване под оленями лучше, чем дома.

– Поедем? – спросил он.

– Поедем, – сказала Варя.

Они поехали на Сухую Ветлу.

Дорога шла сначала по шоссе, потом свернула на старую бетонку, разбитую, в выбоинах, потом на грунтовку, которую никто не чистил. «Нива» шла по снегу уверенно, переваливаясь на кочках, как утка. Справа и слева стоял лес: ели, берёзы, снова ели. Деревни, мимо которых они проезжали, были почти пустые. В одной из пяти труб шёл дым. На одном из десяти заборов висел почтовый ящик.

– Мой дед здесь работал, – сказал Рябов, глядя на дорогу. – Я в детстве приезжал к нему на лето. Тут ещё жили тогда. В Сухой Ветле было дворов двадцать. Магазин, клуб. Электричка останавливалась три раза в день. А потом электричку отменили, магазин закрыли, люди разъехались. Последний раз я тут был лет пятнадцать назад. Мне было двенадцать. Как раз в ту осень.

– В ту самую?

– За месяц до. – Рябов помолчал. – Потом дед мне сказал: Тимка, сюда не езди больше. Я спросил почему. Он сказал: тут теперь ночью не наши ходят.

Сухая Ветла оказалась десятком почерневших изб вдоль единственной улицы, которая упиралась в железную дорогу. Окна заколочены. Крыши провалены. В конце улицы, у самого переезда, стоял шлагбаум, поднятый навсегда и вросший в землю, а за шлагбаумом – платформа. Короткая, на три вагона, из бетонных плит, растрескавшихся, вздыбленных корнями. На столбе висела табличка, ржавая, буквы на ней едва читались: «Сухая Ветла. 213 км».

Рябов остановил машину у шлагбаума. Они вышли.

Было тихо. Так тихо, как бывает только в зимнем лесу, где снег глушит всё: шаги, голоса, дыхание. Варя слышала, как скрипит снег под ботинками и как где-то далеко стучит дятел. Пахло хвоей и холодом.

Она поднялась на платформу. Прошла по ней от края до края. Двадцать шагов. Посмотрела на рельсы. Две блестящие нитки, уходящие в обе стороны, в лес. Направо – на Москву.

Налево – на Вязьму. В сторону Вязьмы, метрах в пятистах, рельсы выходили из леса на открытое место и бежали к мосту.

– Пойдём туда, – сказала она.

Они пошли по обочине, по узкой тропинке, протоптанной кем-то вдоль насыпи. Тропинка была свежая, недавняя. Кто-то ходил здесь регулярно.

Мост вблизи оказался выше, чем казался из окна поезда. Металлические фермы, выкрашенные когда-то в зелёный, а теперь облупленные до ржавчины. Под мостом речка, неширокая, метров пятнадцать, тёмная, быстрая, не замёрзшая даже у берегов. От воды поднимался лёгкий пар.

Перед мостом, на небольшой площадке, расчищенной от снега, стоял камень.

Серый гранитный валун, неровный, грубо обтёсанный. На лицевой стороне была укреплена металлическая доска. Варя подошла ближе. Сняла перчатку и провела пальцами по холодным выпуклым буквам.

«Здесь в ночь на 14 ноября трагически погибли пассажиры поезда № 668». И ниже, в два столбца, фамилии. Двадцать три. Варя читала их медленно, одну за другой, шевеля губами. Абрамова Е. П. Бойко Н. С. Бойко А. Н., шесть лет. Ветров Г. И. Голубева Т. М. Гусейнов Р. А. Дьячков П. П.

Внизу, последней строкой, отдельно от остальных: «Лескова Н. А., проводник вагона».

А под её фамилией было пустое место. Не просто пустое. Металл там был стёсан. Грубо, неаккуратно, будто напильником, и следы напильника тянулись поперёк доски, как шрамы. Если смотреть под углом, на свет, можно было разглядеть, что раньше здесь что-то было выбито. Одна строка. Две буквы в начале, потом точки.

Рябов присел на корточки, посветил фонариком на стёсанное место, посмотрел под разными углами.

– «М», – сказал он. – Первая буква – «М». Дальше не разобрать.

– Мирский, – сказала Варя. Сама не знала, почему. Просто имя вдруг всплыло в голове, будто кто-то шепнул.

– Кто?

– Не знаю. – Она покачала головой. – Не знаю, откуда я это взяла.

У подножия камня, в снегу, лежали цветы. Две гвоздики, красные, совсем свежие, ещё не тронутые морозом. И кусок хлеба. Чёрного, ржаного, отломанного от буханки.

– Это кто тут ходит? – спросил Рябов.

– Я хожу.

Голос раздался у них за спиной так неожиданно, что Рябов вскочил и машинально сунул руку под куртку. Варя обернулась.

На тропинке стоял старик. Маленький, сухой, сгорбленный, в длинном овчинном тулупе, подпоясанном верёвкой, в валенках с самодельными галошами из автомобильных камер, в треухе. Лицо у него было тёмное, как печёное яблоко, заросшее седой щетиной. Глаза маленькие, острые, ярко-голубые. В одной руке он держал палку, в другой – холщовую сумку. За ним стояла собака, огромная, лохматая, серая, похожая на волка, и смотрела на Рябова без всякой симпатии.

– Пров Ильич Сычёв, – представился старик. – Путевой обходчик. Бывший. Тридцать восемь лет на этом перегоне. А вы кто будете?

– Рябов. Тимофей. – Рябов убрал руку из-под куртки. – Внук Степана Рябова.

Старик прищурился, всмотрелся в него.

– Стёпкин внук, – сказал он. – Похож. Нос тот же. А ты чего здесь, Стёпкин внук? Дед тебе разве не говорил сюда не ездить?

– Говорил.

– И чего?

– Не послушался.

Старик усмехнулся, показав два жёлтых зуба. Потом перевёл взгляд на Варю. Смотрел долго, внимательно, сощурив голубые глаза. Собака у его ног тоже смотрела на неё и вдруг тихо заскулила.

– А ты, девонька, Нинина, – сказал старик. Это было не вопрос.

– Да.

– Вижу. – Он кивнул. – Ямочка. И стоишь так же. Руки в карманах, голова набок. Она тоже так стояла на платформе, когда ждала, пока посадка кончится.

Он подошёл к камню, поставил сумку на снег, достал из неё буханку, отломил кусок и положил рядом с тем, что уже лежал. Перекрестился.

– Каждую пятницу хожу, – сказал он. – Пятнадцать лет. Хлеба им ношу. Им хлеб нужен.

– Им? – переспросила Варя.

– Пассажирам. – Старик выпрямился, опираясь на палку. – Им ведь кушать в дороге хочется. Хоть они и не кушают. А хлеб – это для дороги. Так в деревне говорили.

Он посмотрел на мост. Варя проследила за его взглядом. Мост стоял, пустой и тихий, ржавые фермы, рельсы, тёмная вода внизу.

– Вы были здесь тогда? – спросила она. – В ту ночь?

Пров Ильич молчал. Собака легла у его ног, положив морду на лапы.

– Пойдёмте ко мне, – сказал он наконец. – Тут холодно стоять. И не место.

Его жилище оказалось бывшей будкой путевого обходчика, кирпичной, с покатой железной крышей, в двухстах метрах от моста, у самой насыпи. К будке была пристроена дощатая веранда, на веранде громоздились дрова, вёдра, какие-то железки. Внутри было тесно и жарко: печка-буржуйка, топчан, накрытый лоскутным одеялом, стол, два табурета, полка с иконами и керосиновой лампой. На стене висел старый железнодорожный график движения, пожелтевший, весь исчерченный карандашом. И фонарь. Железнодорожный, ручной, с жёлтым стеклом.

Пров Ильич усадил их на табуретки, сам сел на топчан. Налил из закопчённого чайника в алюминиевые кружки что-то тёмное, пахнущее травами. Собака улеглась у порога.

– Я в ту ночь на обходе был, – сказал старик. – Ноябрь, мороз, как сейчас. Шёл от моста к платформе с фонарём, рельсы смотрел. Поезд шёл из Москвы, шестьсот шестьдесят восьмой. Девять вагонов тогда было. Девятый прицепляли только на ноябрьские и на Новый год, когда народу много. Старый был вагон, купейный, деревянный внутри, его давно списать хотели.

– Он остановился здесь?

– Остановился. – Пров Ильич отпил из кружки. – А не должен был. Стоянки тут по расписанию не было уже лет пять. А он встал. Я видел: машинист тормозит, на светофоре красный. Я ещё удивился: какой красный, тут перегон свободный. Стоял он минуты три. Может, четыре. И из девятого вагона, из заднего тамбура, вылез человек.

Варя затаила дыхание.

– Высокий, худой, – продолжал старик. – Молодой ещё тогда был, лет сорока пяти. В тёмной куртке. В руке канистра. Белая, пластмассовая. Он спрыгнул на насыпь, канистру в кусты закинул и пошёл в лес. Быстро пошёл. Меня не видел, я за будкой стоял, фонарь прикрыл. А как он ушёл, светофор зелёным загорелся, и поезд тронулся.

– Шабанов, – сказала Варя.

– Не знаю, как звали. Лицо я его запомнил. Потом в газете видел, когда он со Ступиным на каком-то празднике стоял. – Старик поставил кружку на стол. – Поезд пошёл к мосту. А я стою и смотрю ему вслед. И вижу: в девятом вагоне, в окне служебного купе, свет мигнул. Не электрический. Жёлтый, живой. Огонь. И сразу – дым из-под крыши. Поезд как раз на мост въезжал.

Он замолчал. В печке треснуло полено. Собака подняла голову, посмотрела на хозяина и снова опустила.

– Он горел быстро, – сказал старик тихо. – Деревянный внутри. Лак, обивка, ковры. Через минуту весь вагон стоял в огне. Машинист затормозил прямо на мосту. Я побежал. С фонарём, по шпалам, бегом. Пятьсот метров. Я тогда ещё бегать мог.

– Что вы видели?

– Видел, как бригада расцепляет девятый. Чтобы на остальные не перекинулось. Правильно сделали, по инструкции. Машинист дал ход, состав отъехал вперёд, на сто метров, а девятый остался на мосту. Один. Горит. А в нём люди.

Варя сжала кружку так, что обожгла пальцы. Не почувствовала.

– А она… – Голос у неё сорвался. – Мама?

Пров Ильич посмотрел на неё. В его маленьких голубых глазах стояли слёзы.

– Она людей выкидывала, – сказал он. – Из окон. Двери заклинило, торцевые, их снаружи кто-то на секретку закрыл, я потом видел. Боковые от жара повело. Так она стёкла била. Огнетушителем. И людей в окна выталкивала. Прямо на мост, на шпалы. Кто падал, кто прыгал. Я их ловил, оттаскивал. Женщину с ребёнком поймал. Старика. Парня какого-то, он руку сломал. Восемь человек она вытолкнула. Восемь. Я считал.

– Восемь? – повторил Рябов. – В официальных документах ни слова про выживших в девятом.

– А их потом увезли. На скорой. И я их больше не видел. – Старик покачал головой. – Мне потом сказали: Пров, ты ничего не видел. Ты на обходе был в другом месте. Ты старый, тебе показалось. И подписать дали. Я подписал. Я трус, девонька. Я пятнадцать лет хлеб ношу, потому что подписал.

– А мама? – повторила Варя. – Что было с мамой?

– Она девятого вытолкнула. Мальчонку. Лет десяти. – Старик закрыл глаза. – А потом повернулась и пошла обратно. В вагон. В огонь. Я ей кричал: Нина, прыгай! А она обернулась, посмотрела на меня. И пошла. Туда, в конец, к служебному. Там, сказала, ещё человек. Там ещё человек.

Он замолчал. В будке было тихо. Только трещала печка.

Варя сидела, глядя в стол, и не плакала. Она очень хотела заплакать, но слёзы куда-то делись. Внутри было пусто и горячо, как в той печке.

– Двадцать четвёртый, – сказал Рябов. – В служебном купе.

– Наверное, – сказал старик. – Я не видел. Вагон рухнул внутрь через минуту после того. Крыша провалилась.

Он открыл глаза, посмотрел на Варю.

– И ещё одно я видел, девонька. Это я никому не говорил. Даже батюшке на исповеди. Когда вагон уже догорал, когда пожарные приехали, когда все суетились, из темноты вышел тот самый, с канистрой. Высокий. Подошёл к вагону, пока все были с другой стороны. Залез в окно служебного. Голыми руками, в перчатках только. И вылез обратно. С папкой. Кожаной, обгоревшей. Сунул за пазуху и ушёл в лес.

– Ведомость, – сказала Варя.

Она сама не знала, откуда это слово. Оно просто встало у неё на языке, как ключ встаёт в скважину. Ведомость. Гена писал: ищи ведомость. Денис говорил Гене: ведомость у отца.

Пров Ильич посмотрел на неё с удивлением.

– Ты знаешь?

– Немного.

Старик помолчал. Потом встал, подошёл к стене, снял с гвоздя фонарь, тот самый, ручной, с жёлтым стеклом, и протянул Варе.

– Это её, – сказал он. – Нинин. Я нашёл утром, на насыпи, у моста. Она, видно, обронила, когда людей выкидывала. Пятнадцать лет у меня висит. Каждую ночь в четверг он сам собой зажигается. Я не зажигаю, керосина в нём нет. А он горит. Пять минут, десять. И гаснет.

Варя взяла фонарь. Он был тяжёлый, холодный, с потёртой ручкой, с вмятиной на боку. На жёлтом стекле был выцарапан маленький значок: буква «Н» и цифра «9».

– Но она же… Там у неё есть фонарь. Я видела.

– Это у неё тот фонарь, что был, – сказал старик. – А этот – тот, что остался. Они не одно и то же. Там у них всё как было. А здесь – как стало.

Он сел обратно на топчан.

– Девятый ходит, – сказал он. – Каждую неделю. Я вижу. Ночью в четверг, под утро, поезд встаёт на платформе. И из темноты вагон приходит. Цепляется. А на мосту, когда поезд проходит, девятый замирает. На секунду. На том самом месте. И в окне служебного свет мигает. Жёлтый. Будто снова загорается. А потом идёт дальше. В Вязьму.

– Почему он ходит? – спросила Варя. – Почему его не отпускает?

Старик посмотрел на неё долгим взглядом.

– Вагон, девонька, без ведомости – это не вагон, – сказал он. – Это гроб на колёсах. Проводник отвечает за каждого пассажира по ведомости. Пока ведомость не сдана, вагон не сдан. А пока вагон не сдан, она за них отвечает. За каждого. И за тех, что сгорели. И за тех, кого потом пишут. Она его не бросит. Не может. Она же проводница.

Перед уходом Рябов спросил у старика, не помнит ли он кого-нибудь из тех восьмерых. Пров Ильич долго думал, шевеля губами.

– Мальчонку помню, – сказал он. – Последнего. Рыжий был, конопатый. Он на шпалах сидел и всё повторял: «Тётя Нина сказала не бояться. Тётя Нина сказала не бояться». Я его в тулуп завернул. А кто он, чей – не знаю. Его первым увезли.

Рябов записал. Варя смотрела, как он пишет, и думала о рыжем мальчике, которому сейчас было бы двадцать пять, и который где-то жил, ходил на работу, может быть, ездил на поездах, и не знал, что тётю Нину считают пьяницей.

Они уехали от Прова Ильича, когда начало темнеть. Старик проводил их до машины, собака шла рядом. Варя несла фонарь, завёрнутый в старый тулупный лоскут, который дал ей старик, прижимая к груди, как ребёнка.

– Ещё приедете, – сказал старик на прощание. Не спросил – сказал. – Приезжайте. Я тут. Мне уходить некуда.

На обратной дороге, на бетонке, в зеркале заднего вида появились фары.

Рябов увидел их первым. Ничего не сказал, только чуть прибавил газу. Фары не отставали. Он сбавил. Фары тоже сбавили. Держались метрах в ста, не приближаясь и не отставая.

– Внедорожник, – сказал Рябов. – Чёрный. Номер не вижу.

– Они нас видели у Прова?

– Не знаю. Может, ждали на развилке.

Так они и ехали до самого шоссе. Двадцать километров. Фары в зеркале, ровно в ста метрах, как приклеенные. На шоссе Рябов свернул к Вязьме. Фары свернули за ним. На въезде в город, у первого светофора, внедорожник вдруг резко ускорился, обогнал их, обдав снежной кашей, и ушёл вперёд. Варя успела увидеть в боковом окне лицо водителя. Сухое, обветренное, с выбритым затылком.

Шабанов даже не посмотрел в их сторону.

– Показал, что знает, – сказал Рябов. – Что видел. Что может.

– Да.

– Ну и пусть. – Рябов крепче взялся за руль. – Мы тоже теперь кое-что знаем.

Варя держала на коленях мамин фонарь. Он лежал тяжело и холодно, завёрнутый в овчину. И вдруг, когда они проезжали мимо вокзала, сквозь лоскут пробился слабый жёлтый свет. На секунду. Будто кто-то с той стороны стекла зажёг и сразу погасил спичку.

Была пятница. Не четверг.

Варя посмотрела на Рябова. Он тоже видел. Он смотрел на её колени, потом на дорогу, потом снова на её колени, и молчал.

– Она знает, что он у меня, – сказала Варя.

– Похоже на то, – сказал Рябов.

Глава 10. Машинист

Мамин фонарь Варя повесила в маминой комнате, на гвоздь над кроватью, где раньше висел календарь. Бабушка увидела его вечером, остановилась в дверях и долго стояла молча. Потом подошла, протянула руку и коснулась жёлтого стекла кончиками пальцев, осторожно, будто это была щека.

– Её, – сказала она. – Я эту вмятину помню. Она его на Новый год уронила с подножки, когда пьяного пассажира с перрона в вагон затаскивала. Ругалась потом неделю, что начальство вычтет.

– Вычли?

– Нет. Хрусталёв за неё заплатил. Он тогда за ней ухаживал. Немножко.

Варя посмотрела на бабушку с изумлением. Бабушка пожала плечами.

– Ничего у них не было. Нина его не замечала. Она вообще никого не замечала, кроме тебя и работы. – Бабушка ещё раз коснулась фонаря. – А он замечал. Долго. Может, и сейчас.

Ася сидела на кровати, поджав ноги, в мамином свитере, и смотрела на фонарь снизу вверх.

– Он тёплый, – сказала она.

– Нет, он холодный, – сказала Варя. – Я его всю дорогу на коленях держала.

– Для тебя холодный. А для меня тёплый. – Ася протянула к фонарю руку, не касаясь, держа ладонь в сантиметре от стекла. – Это первое тёплое, что я чувствую с тех пор, как вышла. Можно я тут посижу?

– Сиди, – сказала бабушка.

Ася просидела под фонарём весь вечер. Она так и уснула, свернувшись на маминой кровати, хотя говорила, что спать не может, что ей не нужно, что она не устаёт. Уснула, положив ладонь на одеяло прямо под фонарём, и во сне её лицо разгладилось, стало совсем детским. Бабушка накрыла её пледом. Коса Аси была мокрая, и от неё на подушке медленно расплывалось тёмное пятно.

Ночью Варя проснулась от тихого голоса. Она спала на раскладушке в той же комнате и не сразу поняла, где она. Фонарь на стене не горел. В окно светил уличный фонарь, и в его свете было видно, что Ася лежит на спине с открытыми глазами и шевелит губами.

– Ася?

Ася не ответила. Она смотрела в потолок и говорила, тихо, монотонно, как говорят во сне:

– Тётя проводница, а нам долго ещё? А мама меня встретит? А можно я у окна посижу? Я не боюсь. Я больше не боюсь. Вы же сказали, что скоро.

Потом закрыла глаза и затихла. Варя лежала без сна до самого рассвета и слушала, как в темноте капает с мокрой косы на пол. Кап. Кап. Как вода из крана на кухне у Светланы Сомовой. Как часы, которые отсчитывают чужие семь дней.

В субботу утром Рябов приехал с адресом.

– Гуляев Савва Петрович, – сказал он, садясь за кухонный стол и принимая от бабушки чашку. – Шестьдесят шесть лет. Машинист тепловоза, вяземское депо, стаж тридцать один год. Был машинистом шестьсот шестьдесят восьмого в ту ночь. Через полгода после пожара уволился по собственному желанию. Живёт один, на Красноармейском шоссе, в пятиэтажке у депо. Жена ушла десять лет назад. Дочь в Смоленске. Соседи говорят: пьёт. Но тихо. Никого не трогает.

– Он нас пустит?

– Не знаю, – честно сказал Рябов. – Участковый говорит, к нему никто не ходит. Он сам ни к кому. Раз в неделю в магазин, раз в неделю на кладбище. По пятницам.

– На кладбище к кому?

Рябов посмотрел в блокнот.

– Ни к кому, – сказал он. – Участковый говорит, он просто ходит по участку у южной ограды, где неопознанные. Стоит у одного холмика. Без памятника. Только табличка с номером.

– Двадцать четыре, – сказала Варя.

– Двадцать четыре, – подтвердил Рябов.

Пятиэтажка на Красноармейском шоссе была серая, кирпичная, с балконами, застеклёнными кто во что горазд. Подъезд пах кошками и капустой. Квартира Гуляева была на третьем этаже, дверь деревянная, некрашеная, с почтовым ящиком, набитым рекламными листовками до отказа. Звонок не работал. Рябов постучал.

Долго не открывали. Потом за дверью что-то упало, кто-то выругался хриплым басом, зашаркали шаги.

– Кого несёт?

– Полиция, Савва Петрович. Рябов. Поговорить надо.

– Не о чем мне с полицией говорить. Я ничего не нарушал.

– Знаю. Я не по нарушениям. Я по поезду.

Тишина. Долгая. Потом голос из-за двери, совсем другой, тихий:

– По какому поезду?

– По шестьсот шестьдесят восьмому, – сказала Варя. – Я Лескова. Дочь Нины Лесковой.

Тишина стала ещё длиннее. Варя слышала, как за дверью тяжело дышит человек. Потом лязгнул замок, и дверь открылась.

Савва Петрович Гуляев оказался огромным. Не толстым, а именно огромным: широкие плечи, большая голова, руки как лопаты. Когда-то, наверное, он был очень сильным. Сейчас эта сила осела, оплыла, как оплывает свеча: живот выпирал из-под растянутой майки, лицо было отёкшее, красное, нос в сизых прожилках. Седые волосы стояли дыбом. От него пахло перегаром, табаком и немытым телом. Но глаза были ясные. Карие, глубоко посаженные, очень трезвые.

Он смотрел на Варю.

– Похожа, – сказал он. – Господи. Как похожа.

– Можно войти?

Гуляев отступил. Они вошли.

Квартира была однокомнатная, запущенная, но не грязная. Видно было, что хозяин когда-то пытался поддерживать порядок, а потом махнул рукой на всё, кроме самого необходимого. Продавленный диван. Телевизор с пыльным экраном. Стол, заставленный пустыми бутылками и грязными тарелками. На стене – фотографии. Молодой Гуляев в форме машиниста у тепловоза. Гуляев с женой на свадьбе. Девочка с бантами в первом классе. И большая, в рамке, фотография тепловоза, зелёного, двухсекционного, с номером на лобовом стекле.

– Мой, – сказал Гуляев, перехватив Варин взгляд. – На нём и ездил. Двадцать лет. Его потом на металл порезали.

Он сгрёб с дивана какие-то вещи, освободил место. Сам сел на табуретку. Руки положил на колени. Варя увидела его руки: большие, тяжёлые ладони, и на тыльной стороне обеих кистей, до самых запястий, – старые шрамы от ожогов. Белые, блестящие, стянутые, как воск.

– Это оттуда? – спросила она.

– Оттуда. – Гуляев посмотрел на свои руки так, будто видел их впервые. – Я сцепку отцеплял. Девятый от восьмого. Голыми руками. Она раскалилась уже, а рукавицы я в кабине оставил. Не до рукавиц было.

Он помолчал.

– Зачем пришли? Пятнадцать лет никто не приходил. Ни следователь, ни журналист, ни родственники. Я ждал. Думал, придут, спросят. А никто не пришёл. Будто ничего и не было.

– Я пришла, – сказала Варя.

– Ты пришла. – Он кивнул. – Ну спрашивай.

– Что было в ту ночь?

Гуляев долго молчал. Потом встал, подошёл к столу, взял одну из бутылок, посмотрел на просвет. Пустая. Поставил обратно. Взял другую. Тоже пустая. Сел.

– В тот вечер, – начал он, – за час до отправления, ко мне в кабину пришёл Ступин. Глеб Аркадьевич. Он тогда был зам начальника отделения. Большой человек. В кабину к машинистам такие не приходят никогда. А он пришёл. Сам. В пальто, с портфелем. Сел на помощниково место. Говорит: Савва, у Сухой Ветлы встанешь на красный. Постоишь минуты три. Потом дадут зелёный – поедешь. Я спрашиваю: зачем? Там перегон свободный. А он говорит: не спрашивай. Говорит: у тебя дочь в институт поступает? Поступает, говорю. В Смоленск, на бюджет. Вот и хорошо, говорит. Пусть поступает.

– Он вам угрожал?

– Он мне ничего не угрожал. – Гуляев усмехнулся криво. – Он мне про дочь спросил. Это у них не угроза. Это вежливость такая.

Варя посмотрела на Рябова. Рябов писал в блокноте, быстро, не поднимая головы.

– Потом я видел, как грузили, – продолжил Гуляев. – В девятый. В служебное купе. Четыре ящика. Деревянные, тяжёлые, обшитые жестью, под пломбами. Грузили люди Ступина, не носильщики. А с ними был этот. Шабанов. Его тогда никто не знал, он из милиции уволился и к Ступину пошёл. Сопровождающим. Он сел в девятый.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.